Арсен Люпен

Сергей Адамович
Колбасьев

SHOUT
SHARE
IT

- Колбасьев Сергей Адамович

Колбасьев Сергей Адамович
Арсен Люпен

Колбасьев Сергей Адамович
Арсен Люпен
(Из морских повестей и рассказов)

Впервые столовый зал я увидел на письменном экзамене по алгебре, и он показался мне необъятным. В нем было расставлено свыше сотни столов, разделенных широкими проходами, и за каждым столом сидело по одному экзаменующемуся.

Плоский потолок и огромная пустота наверху. Высокие сводчатые окна, а между ними на зеленых стенах мрамор, и золото, и связки знамен. Бронзовая статуя Петра, и в проходах между столами почти такие же неподвижные, но, к сожалению, всевидящие офицеры.

И тишина, как в склепе, и холод в голове и руках, и смертельное томление квадратных уравнений. И абсолютное одиночество.

Потом я помню этот зал совсем иным. Обед. Роты строем входят в столы. Сигнал "на молитву". Хор восьмисот голосов.

"Очи всех на тя, господи, уповают..." Но, уповая, они не теряют из виду лежащей на самом краю хлебного блюда горбушки, ибо она есть самое вкусное из всей пищи во благовремении.

Второй сигнал горниста, шум раздвигаемых скамей - и сразу сплошной гул самых приятных на дню разговоров и деловитого звяканья ложек. Он становился даже уютным, этот зал, но таким он был не всегда. Еще я помню его в нестерпимом сиянии всех люстр, в блеске паркета и золотого шитья на черных мундирах, когда весь батальон стоял в ротных колоннах, имея оркестр на левом фланге, и вице-адмирал с седым клином бороды на красной орденской ленте, торжественно кашлянув, произносил:

- Здравствуйте, гардемарины, кадеты и команда!

Сейчас из всех его измерений мне почему-то вспоминается только одно: длина тридцать три сажени - как раз длина шестисоттонного миноносца. Не представляю себе его площади, но знаю, что на балах, под мощный духовой оркестр, в нем танцевало до двух тысяч пар.

Он был огромным, этот зал, но ночью становился еще больше. Раздвигаясь, уходил в темноту и казался совершенно бесконечным. Тогда стоявший в нем славный бриг "Наварин" был большим настоящим кораблем, а дежурная лампочка над бригом

- звездой и, точно на штилевом море, узкой, скользящей полосой отражалась на полу.

Смутный силуэт Петра, тусклый блеск увенчанных георгиевскими лентами досок, тени знамен и флагов - здесь была вся романтика и вся история двухсот с лишним лет, имена героев и трофеи их подвигов.

"Государю императору благоугодно было повелеть, чтобы флаг с истребленного неприятельского монитора хранился в стенах Морского училища... Жалуем ему ныне гюйс, взятый пароходом "Владимир" при пленении египетского парохода "Перваз-Бахри".Вид сего флага да возбудит в младых питомцах сего заведения, посвятивших себя морской службе, желание подражать храбрым деяниям, на том же поприще совершенным".

Здесь оглашались эти высочайшие рескрипты. Здесь перед шестью монархами одно за другим церемониальным маршем проходили молодые поколения офицеров российского флота. Здесь звучало громовое "ура" победам при Наварине и Синопе.

И здесь же однажды, в торжественный час обеда, на хорах появилась огромная, аршинными буквами, надпись: "Дерьмо".

2

По залу пронесся гул нескрываемого одобрения, и дежурный по корпусу старший лейтенант Посохов, расплескивая щи, вскочил из-за стола. Это его звали Иван Дерьмо, и прозвище свое - кстати сказать, заслуженное - он знал.

- Дерь-мо! - хором провозгласил какой-то отдаленный стол, и внезапно дежурный по корпусу совершил поступок, не предусмотренный никакими уставами или положениями, а именно - зарычал и выхватил саблю.

Толстый и красный, похожий на памятник, с гневно торчащими усами и обнаженным оружием, он был настолько великолепен, что зал не выдержал!

- Руби! Бей его, я его знаю! Ура!

И над всем этим безобразием висел плакат, который нужно было сорвать, истребить, уничтожить! Посохов метнулся к хорам и взмахнул саблей.

-Вперед! - крикнули несколько человек сразу. - На абордаж!

Но тут Посохов вспомнил, что он старший лейтенант и здесь командир, а те, что кричат, просто паршивые мальчишки. С лязгом бросил саблю в ножны и, круто повернувшись на каблуках, пошел прямо к столам.

Лицо его стало черным, и щеки дергались, и там, где он проходил, была тишина. Зато еще громче веселились все остальные столы - впереди, позади и на другой стороне прохода. И, точно в бреду, не было никакой возможности с ними

справиться, а мерзостный плакат все еще висел на хорах.

- Дневальный! - закричал Посохов и сам не узнал своего голоса. - Убрать!

- Кукареку! - совсем так же, по-петушиному, отозвался кто-то за его спиной, и он снова перестал понимать, что с ним делается.

- Красота, - сказал старший унтер-офицер Василий Бахметьев, и сидевшие за его полустольем кадеты четвертой роты разразились восторженным "ура!".

- Тише, молодежь! - остановил их Бахметьев, старший на целых два года, а потому в их обществе почти мудрый и чуть склонный к иронии. - Не теряйте чувства меры и не старайтесь отличиться. Лучше давайте послушаем многоуважаемого нашего Ивана.

- Убрать! Убрать! - все еще неистовствовал Посохов, хотя дневальный, лысый служитель в белом переднике, уже лез по лестнице.

- Прелестный голос,улыбнулся Бахметьев. - Почему он не поет в опере?

- Ему бы цветов послать, господин унтер-офицер.

- Целый букет! Вот такой! - И кадет Лавринович ложкой в воздухе описал широкий круг.

- Убрать! - уже хрипел Посохов.

- Вы правы, мой друг, - согласился Бахметьев, и от такого ответа Лавринович просиял, потому что был влюблен в свое непосредственное начальство.

Унтер-офицеры, или в просторечии - капралы, из старшей роты назначались во все прочие в целях поддержания в них дисциплины и порядка. Теоретически рассуждая, им в подобных случаях следовало бы вести себя совершенно иначе, но весь корпус дружно ненавидел Посохова, и традиция дружбы была сильней устава.

Фельдфебелю самой младшей, шестой, роты Домашенко, конечно, неудобно было самому участвовать в общем веселье. Все же он сумел вполне дипломатично этому веселью помочь.

- В мое время, - вздохнул он, - славная шестая рота непременно лаяла и мяукала, - каковым советом его юные питомцы не замедлили воспользоваться.

Уже плакат был снят с хоров, осмотрен дежурным по корпусу и вынесен из зала. Уже за щами подали зразы с гречневой кашей, и Посохов сделал вид, что ничего не слышит и обедает. Но все же зал гудел, и все еще над общим гулом господствовало все то же обидное слово.

Однако хуже всего для Посохова была небольшая визитная карточка, которую он сорвал с принесенного ему дневальным

плаката.

Сорвал, скомкал и сунул в карман.

3

Вышеизложенным бурным событиям предшествовали другие, непосредственно с ними связанные и довольно таинственные.

Началось с того, что знакомый читателю носитель неблагозвучного прозвища Иван Посохов стал проявлять какой-то почти болезненный интерес к жизни старшей гардемаринской роты.

Правда, он в ней же был командиром первого взвода, но по службе ему отнюдь не полагалось чуть ли не сплошь с утра до вечера находиться в ротных помещениях, разгуливать, заложив руки за спину, и испытующе всматриваться в лица всех встречных.

Еще меньше ему полагалось далеко за полночь тенью бродить по спальням и при свете карманного фонарика читать доски над пустующими койками. И уж, конечно, совсем не следовало во время отсутствия роты на цыпочках ходить по пустому ротному залу и осторожненько заглядывать в кое-какие гардемаринские конторки.

Само по себе поведение Посохова никому особо удивительным не показалось. Все знали, что его склонность к сыску, в сочетании с некоторой врожденной глупостью, и послужила причиной удаления его с флота и водворения в корпусе. Но причины этого поведения оставались совершенно непонятными.

Решительно никаких происшествий за все последнее время в старшей роте не было. Жизнь протекала до смешного смирно и дисциплинированно. Даже не было случая, чтобы кто-нибудь, будучи в отпуску, в трамвае повздорил с каким-нибудь офицером.

- Разыскивает, - говорили в курилке, традиционном ротном клубе, вынюхивает.

Но что именно разыскивает и вынюхивает, понять никак не могли, а потому с особым интересом следили за всеми движениями Ивана.

Наконец он раскрыл свои карты, но, раскрыв их, привел всех в окончательное недоумение.

Однажды, совершенно неожиданно, он остановил в картинной галерее Степана Овцына из второго отделения и спросил:

- Ну, как дела?

Степан, которого не только за его фамилию звали "блаженной овцой", смутился и проблеял нечто невнятное.

Было уже десять часов вечера, и само присутствие

гардемарина в картинной галерее, где делать ему было решительно нечего, показалось Ивану Посохову подозрительным.. Смятенный вид Овцына еще больше укрепил его подозрение, а потому он ласково взял его под руку:

- Гуляете?

- Так точно, - ответил Степа и после некоторого колебания добавил: Господин старший лейтенант.

- Отлично! Отлично! - обрадовался Посохов. - Здесь нас окружают такие превосходные произведения искусства. Слушайте, - и в порыве нежности даже сжал Степину руку, - я сам поклонник всего прекрасного и, когда был молод, тоже мечтал что-либо создать.

- Есть, - нерешительно согласился Степа.

- Ну вот, вы меня понимаете. Видно, и в вас горит священный огонь. Говорят, вы литературой увлекаетесь. Верно это?

На свою беду, Степа писал очень сентиментальные и очень плохие стихи. Как-то раз в этом был уличен и поднят на смех, и с тех пор свою слабость тщательно скрывал. Как и следовало ожидать, он густо покраснел и сразу же отрекся от своей музы:

- Никак нет, не увлекаюсь.

Посохов покачал головой, что-то изрек о ложной стыдливости и, доведя Степу до дверей роты, с ним распрощался. А потом вынул из кармана книжечку в красном сафьяновом переплете, записал в ней фамилию "Овцын" и поставил два восклицательных знака.

И с этого вечера Иван Посохов переменился. До сих пор все время молчавший, теперь он заговорил. Заговорил приветливо и цветисто, но исключительно на литературные темы, что по меньшей мере было странно.

Он запросто беседовал с кем придется о Пушкине и Тургеневе, а иной раз о Гончарове, сочинившем книжку "Фрегат "Паллада"", или о Станюковиче, который когда-то учился в этих славных стенах.

Но всегда незаметным образом переводил разговор на литературу авантюрную и криминальную, знаете ли такую, что от нее не оторваться. И больше всего ему хотелось узнать, читают ли в роте, например, Конан-Дойля или, скажем, Мориса Леблана, и если читают, то кто именно.

Конечно, разнесся слух, что он слегка спятил от однообразной жизни и, решив во что бы то ни стало сделаться великим писателем, уже творил нового Пинкертона. А для практики осматривает и обнюхивает все, что подвернется.

Утверждали даже, что его видели на четвереньках, с лупой в руках исследующим кафельный пол в гальюне классного

коридора.

Разговоры эти, однако, не имели под собой никакой ночвы. Слишком уж практичным был старший лейтенант Посохов, чтобы так сходить с ума, и слишком неподходящей для литературной деятельности была его полулягушечья внешность.

Да и самый слух на проверку оказался пущенным Борисом Лобачевским, юношей способным, но с поведением всего на девять баллов и к тому же язвительным.

Поэтому лучшие умы роты считали, что в действительности все обстоит как раз наоборот: первопричиной были какие-то таинственные поиски, а следствием их - несколько непонятные литературные беседы.

И, конечно, они не ошибались. Вскоре стали известными факты, которые разъяснили все, вплоть до Мориса Леблана.

Оказалось, что в течение недели дежурные офицеры по корпусу, по батальону и даже по кадетским ротам стали находить у себя на столиках визитные карточки с загнутыми уголками.

Как известно, загнутый уголок означает: был, но, к сожалению, не застал. Но кто же именно был?

На этот вопрос визитные карточки отвечали прямо и без всяких уверток. Изящным шрифтом по-французски на них было напечатано: Арсен Люпен.

4

Визитные карточки были всего лишь, так сказать, предисловием. Следуя церемонным правилам светского обихода, Арсен Люпен представлялся начальству Морского корпуса, а представившись, сразу начал действовать.

Командир четвертой роты капитан первого ранга Ханыков, по прозвищу Ветчина, после многотрудного дня, проведенного в дежурстве по корпусу, готовился отойти ко сну.

Чувствовал он себя неважно, потому что на утреннем батальонном учении его рота нарочно шла не в ногу, а за обедом эконом подал на второе ветчину с горошком, что вызвало бестактный восторг всего столового зала.

Всякие неприятности, однако, рано или поздно кончаются, и теперь перед Ханыковым стояла превосходная мягкая кровать, на которой устав разрешал ему отдыхать раздетым.

А был он человеком пожилым и тучным, медлительным в мыслях и движениях и отдыхать любил больше всего на свете.

Не спеша он разделся. На стуле рядом с кроватью в строго установленном порядке разложил: портсигар, серебряную спичечницу, часы и кобуру, в которой для легкости вместо нагана он носил сверток мягкой туалетной бумаги.

И так же не спеша полез под одеяло, но тут с ним случилось

нечто неожиданное. Ноги его встретили какую-то непреодолимую преграду и, несмотря на. все его усилия, застряли на половине кровати.

От обиды он чуть не заплакал. Это был мешок, точно такой же, в какие заворачивали тридцать с липшим лет тому назад, когда он учился в корпусе. Верхняя простыня, вдвое сложенная и нижней своей частью подвернутая под тюфяк, так что в ней непременно запутаешься.

Даже в те времена ему ни разу не пришлось сесть в мешок, а теперь, на старости лет, он попался, как какой-то мальчишка. Не хватало только, чтобы ему узлами завязали рукава ночной рубашки.

Рукава ему тоже завязали. В этом он убедился на ощупь, как только сунул руку под подушку. Тогда им овладел гнев. Такой гнев, что он весь затрясся, закашлялся и чуть не задохся.

Кто мог позволить себе такую шутку? Кто посмел? С невероятной для него резвостью он соскочил на пол, обеими руками раскидал постель и увидел: на его ночной рубашке лежала визитная карточка Арсена Люпена. Тут он испугался. Почему испугался, сам не смог бы сказать, но со страху сел на стул, прямо на свое имущество, и от этого пришел в себя.

На карточке была какая-то надпись по-французски. Обязательно нужно было узнать, в чем дело, а он уже давно забыл все французские слова, кроме "же ву при" и "пардон".

Полторы минуты спустя, в ботинках на босу ногу и с подтяжками, предательски висевшими из-под кителя, он прибежал в картинную галерею к дежурному по батальону лейтенанту Стожевскому.

Стожевский, по положению, стал "смирно" и сделал вид, что подтяжек не заметил. Слушая Ханыкова, также ничему не удивился, но во французском языке, к сожалению, оказался нетвердым.

- Не все здесь понимаю, - сказал он. - Вот тут написано: слишком долго спать, а дальще... вы меня простите, господин капитан первого ранга, но этот негодяй написал "Ветчина".

Ханыков вздрогнул, выхватил у Стожевского карточку, сказал: "Спасибо", убежал так же стремительно, как появился.

Только тогда Стожевский, за свою любовь к внешним проявлениям дисциплины прозванный Здравия Желаю, позволил себе улыбнуться, а потом даже засмеяться.

Смеялся он долго и беззвучно, откинувшись на спинку кресла и мотая головой, но смеялся совершенно напрасно.

Ложась спать, он разделся, чего ему, дежурному по батальону, делать не полагалось. А проснувшись поутру,

обнаружил, что у него пропали брюки.

Под кроватью их не оказалось и на письменном столе, конечно, тоже. Обеспокоенный, он из своей нищи выглянул в галерею и увидел свои брюки висящими на люстре.

Со стула до них было не дотянуться. Пришлось спешно тащить тяжелый стол, громоздить на него стул и самому лезть наверх в своем весьма сомнительном туалете.

Конечно, это было печальное и недостойное зрелище, и, как назло, за этим занятием его застали явившиеся с рапортом дежурные по старшей и третьей ротам. Оба любезно предложили ему свои услуги, но, присев на корточки на своем стуле, он закричал и прогнал их.

Он сознавал, что через полчаса его приключение будет известно всему корпусу, и от этого сознания ему было невесело. Но совсем скверно ему стало, когда он выяснил, что на брюках были спороты все пуговицы до последней и что сзади у них на ниточке висела неизбежная карточка Арсена Люпена.

На этот раз надпись на ней была краткой и вполне понятной: "Поступай так, как учишь поступать других, и будешь счастлив".

Он был наказан за нарушение того самого устава, который с таким рвением проповедовал. Теперь ему оставалось только терпеливо сидеть за столом, потому что всякое иное положение для него было невозможно, и дожидаться какого-нибудь дневального, чтобы послать его на квартиру за новыми брюками.

Хорошо еще, что жил он в соседнем доме и что по службе ему пока что можно было никуда не ходить.

От дежурного по корпусу он успел скрыться в уборную, но шедшая строем на чай четвертая рота застала его за разговором с дневальным.

- Рота, смирно! - скомандовал фельдфебель барон Штейнгель. - Равнение налево!

По уставу встать и для отдания чести приложить руку к головному убору ему бы, наверное, не удалось. А как отдавать честь сидя?

- Вольно! - крикнул он и неопределенно махнул рукой.

- Вольно! - повторил невозмутимый фельдфебель, но рота продолжала держать равнение налево, и по глазам ее было видно, что она уже знает.

В конце концов Стожевский остался без чая, а потом имел неприятный разговор с начальником строевой части генерал-майором Федотовым, после чего сменился с дежурства, пришел домой и, не отвечая на расспросы жены, слег в постель с повышенной температурой.

В тот же день за обедом Арсен Люпен устроил старшему

лейтенанту Ивану Посохову уже известный нашему читателю бенефис с плакатом в столовом зале.

И еще по почте прислал свои карточки с обидными надписями всему высшему начальству вплоть до самого его превосходительства директора корпуса.

Естественно, что вышеупомянутое начальство от всего этого пришло в сильнейшее беспокойство.

5

Они очень гордились своими старыми традициями и особенно тем, что шестого ноября, в день корпусного праздника, у них свыше ста лет подряд к обеду подавали гуся.

Они были очень занятными людьми, но сейчас я их не совсем понимаю. Хотелось бы мне снова их встретить. Хотя бы для того, чтобы узнать, что же еще, кроме гуся, числилось в активе этих самых старых традиций.

Хотелось бы, чтобы пришел ко мне живой гардемарин шестнадцатого года, к примеру тот же Сергей Колбасьев из четвертого отделения или Леня Соболев из пятого.

Чтобы был этот гардемарин, как полагается, в черном с золотом мундире и в не дозволенных уставом, но все же непременно носимых в отпуску манжетах, восемнадцати лет от роду и преисполненный всей соответствующей ему мудростью.

Чтобы сел он вот на этот стул пред моим письменным столом, взял у меня папиросу и был бы со мной откровенным.

Боюсь, что мой вопрос застал бы его врасплох: о старых традициях принято было говорить вообще, но над тем, что же они собою представляют, едва ли кто задумался.

Скорее всего, он просто перевел бы разговор на другие темы, но, может быть, рассказал бы о "золотой книге" и о похоронах альманаха.

Правда, самой "золотой книги" он не видел, но знает, что вплоть до какого-то года она исправно передавалась из выпуска в выпуск и что было в ней немало любопытных стихов, сочиненных прежними питомцами корпуса.

О похоронах альманаха он знает больше. Это очень старая и отличная церемония, сопутствовавшая окончанию выпускных экзаменов по астрономии.

Тайный ночной парад всей старшей роты в столовом зале, удивительные обряды, речи и песнопения. Нептун на троне из столов и красных одеял, гроб альманаха на пушечном лафете и залп самой последней брани, изображающей громовой салют с брига "Наварин".

Нет, все это, конечно, было очень весело, но всерьез можно говорить только об одной традиции корпуса, о действительно

древнем и неистребимом законе братства всех воспитанников, о строгом законе, не допускающем даже малейших проявлений неверности.

Одна из рот шла на обед по звериному коридору, и дежурный по корпусу стоя в дверях своей комнаты, расслышал, как кто-то в строю негромко обозвал его прохвостом.

После обеда роту не распускали, пока не пришел ее командир. Произнеся краткую проповедь на тему о хамстве и о гражданском мужестве, он скомандовал:

- Кто сказал слово "прохвост", шаг вперед, шагом марш!

И вся рота, не сговариваясь, четко и точно сделала шаг, вперед. Вся, кроме одного человека.

Это был невысокий и сильный человек с темным лицом. Он знал, что за такое дело рота останется без отпуска, а для него в ту самую субботу отпуск был дороже жизни. Не знаю почему, кажется, из-за девушки.

Конечно, всю роту оставили и пустили его одного. И он пошел, хотя ему было сказано: "Лучше останься с нами".

После этого с ним никто не разговаривал, его не замечали, смотрели сквозь него, - он стал пустым местом. Он был сыном командующего флотом, но никакие силы на свете не могли ему помочь. Он должен был жить все в том же безвоздушном пространстве и мог спастись только уйдя из корпуса.

Но сдаваться он не хотел. Он во что бы то ни стало, как его дед и отец, должен был стать моряком.

Шесть дней в неделю он не имел права произнести ни одного слова, и все-таки учился, но наконец не выдержал и остался на второй год в надежде, что новая рота его примет.

Он ошибся. Снова к нему обращались только по службе, снова ему подавали руку только на уроках танцев, снова он оказался отделенным глухой стеной от всех остальных.

Его прежняя рота прислала ему прощенье ровно через год. В этот день он смог заплакать, но еще в течение всех трех лет до выпуска он говорил с трудом. Так было всегда, и иначе быть не могло. Несколько сот человек нужно было согнать в рамки твердой и не слишком умной дисциплины, и дело это было поручено примерно тридцати, по большей части совсем неумным, ротным или взводным командирам.

А во главе стоял его превосходительство директор, знаменитый своей налаженной седой бородой и умением внушительно кашлять.

С этой его привычкой у него иной раз получались недоразумения. Так, однажды, услышав в лазарете кашель и решив, что его передразнивают, он на двадцать суток посадил

двоих кадет, которые, кстати, и не кашляли.

Вероятно, он сделал это для укрепления той самой дисциплины и для поднятия геройского воинского духа. Вероятно, ради тех же высоких целей генерал-майор Федотов и ему подобные насаждали в корпусе культ строевой шагистики, а милейший Посохов усиленно занимался сыском.

И так было всегда, и всегда, неизвестно почему, люди, за негодностью выброшенные с флота, могли стать воспитателями будущих моряков.

И всегда они очень старались, но своими стараниями добивались только одного: сплочения против себя братства всех шести рот.

Конечно, никакой дружбы и никакого мира между ними и ротами не было и быть не могло. А о войне братство сложило обширный, в достаточной степени кровожадный фольклор.

Вот окно - последнее по правой стене столового зала, если стать лицом к бригу. Из этого окна в семидесятых годах прошлого столетия прямо сквозь стекла на двор выбросили одного ротного командира.

Вот картинная галерея. Здесь, уже в начале двадцатого века, одного офицера избили шарами от кегельбана, который после этого случая был упразднен.

Вот компасный зал - небольшой круглый зал, по самой середине классного коридора; с ним связана фантастическая, почти средневековая легенда о гардемарине Фондезине.

Это было не то во время декабристов, не то в год польского восстания, но во всяком случае еще при Николае Первом.

В корпусе нашли крамолу, и судить виновных должна была особая комиссия под председательством директора.

У дверей столового зала поставили караул, а по самой его середине - стол, накрытый зеленым сукном. Там, за этим столом, в огромной пустоте и должна была заседать комиссия, каждое слово которой было тайной.

Но плоский потолок зала был подвешен на цепях, и друзья виновных решили отомстить. Они пробрались на чердак и под цепи заложили пороховые заряды. Им оставалось только выждать, пока соберется судилище, поджечь фитили и обрушить потолок.

Директором корпуса был адмирал Фондезин, и был у него сын гардемарин. Сын знал, что отец идет на смерть, и, не выдержав, его предупредил.

Мстителей схватили на чердаке, и судьба их была печальной. Но сам гардемарин Фондезин пропал на следующий день, и пропал бесследно.

И уже много лет спустя, во время ремонта компасного зала,

его скелет с остатками полуистлевшей форменной одежды был найден замурованным в одной из стен компасного зала.

Так рассказывали, но, насколько я знаю, в корпусе никогда не было директора по фамилии Фондезин, да и сама операция замуровывания мне кажется едва ли технически осуществимой.

Все это, однако, несущественно. Мораль легенды ясна: во все времена была война с начальством, и во все времена измена братству каралась с предельной жестокостью.

Я видел только самый конец этой двухсотлетней войны. При мне начальство завершило то, что ему казалось приведением Морского корпуса в полный порядок.

Действовало оно воистину превосходно. С такой же блестящей бездарностью и таким же самодовольным упорством, с каким в масштабе всей Российской империи орудовали последние горемыкины царя. Деятельность его неплохо была освещена в той же "золотой книге", в одном стихотворении о некоем весьма глубокомысленном адмирале . Адмирал этот понял, что в мире существует какой-то определенный порядок, а именно: женщины производят на свет детей, павлоны, сиречь юнкера Павловского военного училища, занимаются печатанием с носка и прочими пехотными штуками, а гардемарины Морского корпуса изучают морские науки и в свободное время пьют водку. Такой порядок, по его мнению, отнюдь не соответствовал цивилизации и прогрессу навигации, а потому он порешил:

Порядок новый, отменный и толковый немедля учредить,
Чтобы без исключений всем дамам водку пить,
Павлонам, средь мучений, детей производить,
А в корпусе Морском, во вред морским наукам,
Ввести пехотный строй, учить павлонским штукам.

И, надо сказать, учили этим штукам действительно несколько больше, чем следовало, и это мало кому нравилось.

Опять-таки очень старались, и опять-таки его превосходительство директор сажал на двадцать суток дежурных по кухне, являвшихся к нему на квартиру с пробой пищи и неверно державших в руке фуражку.

И за все эти старания и за всю науку в один из дней шестого ноября корпус отблагодарил своего директора - так, что лучше не надо.

Это было за обедом, вскоре после традиционного гуся. За длинным столом у брига восседало приглашенное на праздник высшее начальство - обрамленная золотом радуга орденских лент. Поближе к гардемаринам несколько столов занимали просто флотские офицеры.

Гусь был отличный, и с яблоками, и, кроме гуся, подали

превосходный сухарный квас, но главное, что было, - это отличное настроение духа,

Сигнал горниста: "Встать!" и в наступившей тишине его превосходительство директор провозглашает тост. За тостом - "ура!", и снова сигнал и продолжение занятий с гусем.

Тосты следовали в строго установленной очередности, и, как всегда, за русский флот кричали вдвое громче, чем за государя императора. И за старейшего из присутствующих, седенького и румяного адмирала, в стиле библейского пророка, кричали совершенно оглушительно, чтобы его развеселить.

И старичок развеселился. Встал, помахал ручкой и провозгласил ответный тост за дорогого, он бы даже сказал-обожаемого Виктора Алексеевича, хозяина сегодняшнего праздника и директора корпуса - "ура!".

Оркестр грянул победный туш, но весь корпус промолчал. Весь корпус смотрел на своего директора и, видя, как он бледнеет, улыбался.

И туш звучал все более и более неуверенно, и кое-какие оркестранты, не зная, что им делать, постепенно умолкали, и капельмейстер окончательно растерялся.

Наконец генерал-майор Федотов сорвался со своего места, галопом подбежал к оркестру и закричал;

- Прекратить безобразие!

Тогда настала тягостная и неопределенная пауза, и за паузой сигнал: "на молитву!".

Праздничный обед был закончен. Кстати, это был последний праздничный обед Морского корпуса.

6

Помимо всего прочего, Степа Овцын был восторженным черноморцем.

Он мог часами говорить о "Гневном" и "Пронзительном", которые, по его сведениям, ходили узла на три быстрее новых балтийских миноносцев, о блестящих, но не слишком правдоподобных боях с "Гебеном" и "Бреслау", а заодно о знаменитой севастопольской жизни и, в частности, о Приморском бульваре.

Сейчас он говорил о Дарданеллах. Говорил с увлечением, размахивал руками и чуть не опрокинул урну для окурков.

Конечно, англичане их возьмут, и с англичанами в Мраморное море войдет наш крейсер "Аскольд". И сразу же мы ударим с Черного моря. В Севастополе уже готовят десант. Целую дивизию. Царьград будет нашим, и война скоро окончится. А тогда черноморский флот станет средиземноморским, будет плавать в Италию и черт знает куда, и получится сплошная

красота.

- Степа! - остановил его унтер-офицер Василий Бахметьев. - Пожалуйста, перестань молоть чепуху.

- Чепуху? - возмутился Овцын. - Какую чепуху? Неужели ты не понимаешь? Турок в два счета вышибут в Азию - и конец.

- В два счета? - переспросил фельдфебель Домашенко, тоже черноморец, но не в пример Степе человек положительный.

- Нет, душа моя, не так это просто.

- Да что ты! - И, всплеснув руками, Овцын снова толкнул урну, но вовремя успел ее подхватить.

- Что ж тут трудного? Просто, как палец. Боюсь только, что мы с тобой туда не поспеем. До выпуска еще целых шесть месяцев.

- Не бойся, Степанчик, - и Бахметьев похлопал Овцына по плечу. Хороший он был, этот самый Степа Овцын. Трогательный.

- Слушай, - сказал Домашенко, - англичане уже долго возятся с Дарданеллами, и что будет дальше - неизвестно. Попробуй назови мне случай, чтобы флот взял береговую крепость.

- Конечно, - поддержал Котельников, тихий блондин из породы зубрил, благодаря настильности своего огня судовая артиллерия не имеет возможности поражать складки местности, в которых могут укрываться батареи береговой обороны.

- Садитесь, - сказал Бахметьев, - двенадцать баллов, - и повернулся к Овцыну: - Беда мне с тобой, Степа. Втравишь ты меня в войну с Англией, потому что ей твой средиземноморский флот не понравится.

- Несомненно, - согласился Котельников. - На примере кампаний Ушакова и Сенявина ясно видно, что...

- Довольно! Довольно! - перебил Бахметьев. - Вас не спрашивают. Замолчи, пожалуйста.

Остановился, чтобы сформулировать свое окончательное суждение; по вопросу о проливах, но высказаться не успел.

В курилку боком влетел старший гардемарин Костя Патаниоти. Влетел и дал волю обуревавшим его чувствам:

- Очередной номер! Опять Арсен Люпен! Молодчинище! Опять обложил Ивана!

- Стой! - И Бахметьев поймал его за руку. - Что случилось?

- Пусти! - Костя физически не мог говорить, когда его держали.

- Вы понимаете, до чего здорово! Он прислал ему целый букет цветов.

- Кто, кому, почему и зачем? - не понял Бахметьев.

- Конечно, Арсен Люпен Ивану, а не наоборот. Ты дурак. Здоровый букет с какими-то ленточками, и на карточке написано:

"За незабываемое сольное выступление такого-то числа в столовом зале Морского корпуса от благодарного поклонника" или что-то в этом роде.

- Врешь, - усомнился Домашенко. - Откуда ты знаешь, что там написано?

- Нет, не вру. Мичман Шевелев видел. С ним Иван советовался насчет французского языка. А потом рассказал нашим.

- Иван рассказал? - И Бахметьев покачал головой. - Ты что-то путаешь.

- Да нет же! Ты идиот. Шевелев, конечно. Он у нас в прошлом году капралом был. Ну и рассказал по дружбе.

- Спасибо, - сказал Бахметьев. - Теперь все ясно. А то я испугался, что ты Арсен Люпен и выбалтываешь свои секреты.

- Я? - ахнул Патаниоти. - Арсен Люпен?

Сразу же распахнулась дверь из классного коридора, и в нем появилось темное лицо Ивана Посохова. Одно мгновение была пауза. Потом Посохов широко улыбнулся и закивал головой:

- Ну-у! Курите-курите! Только скоро будет звонок. - И, продолжая кивать, исчез.

- Фу! - вздохнул Патаниоти, - Напугал.

Но Овцын приложил палец к губам, на цыпочках подошел к двери, осторожно ее раскрыл и выглянул в коридор.

Посохов, согнувшись, стоял у стенки и завязывал шнурки на ботинке. Увидев Овцына, лукаво ему подмигнул, выпрямился и пошел прочь.

Овцын даже отшатнулся назад. Слишком необычайным и страшным показался ему подмигивающий Иван.

- Вот черт! - негромко сказал он. - Подслушивал.

- Наверняка, - согласился Домашенко, - такая у него натура, и, подумав, добавил: - Впрочем, я тоже хотел бы знать, кто этот самый Арсен Люпен.

- Зачем? - спросил Бахметьев.

- Я бы посоветовал ему бросить это дело. Слишком оно рискованно.

- Конечно, рискованно, страшно рискованно, - заволновался Котельников и от волнения покраснел. - Ведь это же ужас какой-то. Никогда в нашей истории ничего подобного не случалось, и, если его поймают, его наверняка вышибут.

Бахметьев усмехнулся:

- Вышибут, говоришь? Нет, юноша, здесь пахнет похуже вышибки. Мы принимали присягу и находимся на действительной службе. Дисциплинарный батальон мосье Люпену обеспечен, а может быть Сибирь.

Он был прав. Эпопея Арсена Люпена сразу выросла за пределы простой шалости, и начальство, конечно, постаралось бы так с ним расправиться, чтобы другим было не до шуток.

- Будьте уверены, - сказал Домашенко, - ему жарко будет, если его изловят. Он совершенно правильно делает, что даже от нас скрывается.

- Ну вот еще! - возмутился Патаниоти. - Как будто мы проболтались бы.

- Не волнуйся, грек, - успокоил его Бахметьев, - он не о тебе думает. Он знает, что ты надежен, как скала, и отнюдь не болтлив.

Но ирония его была слишком очевидной, и Патаниоти нахохлился:

- Чепуха! Ты болван! Просто хочется знать, кто же он такой.

- В самом деле... - медленно повторил Бахметьев.- Ну что ж, я полагаю, что это кто-нибудь из нашей роты. Больше никто не посмел бы так свободно шататься по всему корпусу. И, надо думать, какой-то отчаянный мужчина.

- Отчаянный! - даже вскрикнул Котельников. - Сумасшедший, а не отчаянный. Лезть на такую авантюру перед самым производством.

- Не смей! - в свою очередь рассвирепел Патаниоти. - Ты тля, вот ты кто!

- Нет! - тихо сказал Овцын. - Он не сумасшедший, а герой. И, будьте спокойны, его не поймают.

В коридоре задребезжал звонок, и Бахметьев пожал плечами:

- Одно из двух: или поймают, или нет. Джентльмены, идем по классам.

7

Иван Посохов купил себе карманный французский словарь и изготовился к длительной борьбе со своим врагом. В частности, начал систематически заносить свои наблюдения в красную записную книжку.

Одну из страниц этой книжки он украсил красивой, с каллиграфическими завитушками, надписью: "Дело Арсена Люпена". И ниже, в подобающем месте, пометил: "Приложения (смотри в карманчике переплета)- визитные карточки, при различных обстоятельствах полученные разными лицами, всего числом девять штук, из них четыре с надписями".

На последующих страницах он развернул целую стройную систему. Слева подробно излагались события и обстоятельства дела, а справа помещались комментарии и умозаключения.

Все вместе было великолепной смесью канцелярщины с детективной литературой, и особенно хорошо выглядели,

заголовки, которыми характеризовались отдельные эпизоды:

"Таинственные визитные карточки", "Ночное приключение капитана первого ранга Ханыкова", "Случай с брюками лейтенанта Стожевского".

Этот последний случай дал Посохову материал для очень смелого и оригинального вывода. Он написал: "Не подлежит сомнению, что в деле этом замешаны два человека, оба высокого роста и отменные гимнасты".

Здесь Посохов применил типичный конан-дойлевский литературный прием. Сперва показал поразительные результаты своей дедукции и лишь потом разъяснил, каким путем она шла:

"До люстры возможно было достать только со стула, установленного на столе. Единственный в картинной галерее стол дежурного по батальону был чрезмерно тяжел и стоял в непосредственной близости к койке, на которой почивал Стожевский. Нельзя себе представить, что злоумышленник осмелился двигать его с места на место и еще более невероятным было бы предположение, что этот Арсен Люпен пришел с собственным столом. Отсюда следует, что в подвешивании брюк на люстру участвовали двое, из коих один стоял на стуле и держал на руках другого".

Немало места в книжке было отведено Степану Овцыну, который продолжал вести себя подозрительно. Снова без дела разгуливал вечером по картинной галерее и имел таинственный вид. Выглядывал из курилки и высматривал: близко ли он, старший лейтенант Посохов, стоит к дверям.

Кое-что было написано и о Константине Патаниоти все последнее время находившемся в каком-то особо возбужденном состоянии и также внушавшем подозрения. Больше того - даже уверенность в его виновности, ибо, насколько удалось расслышать через закрытую дверь курилки, он откровенно хвастался тем, что он и есть Арсен Люпен.

Во время занятий гимнастикой выяснилось, что он ловок как обезьяна и, бесспорно, мог бы добраться до люстры. Овцын хотя никаких гимнастических способностей не проявил, но выглядел сильным и устойчивым. Он мог стоять внизу и поднимать своего сообщника.

К тому же и Овцын, и Патаниоти были высокого роста, и в довершение всего оба интересовались литературой, что само по себе тоже было кое-какой уликой.

Так мыслил и писал Иван Посохов, но одними пассивными наблюдениями он не ограничился и вскоре сделал чрезвычайно хитрый ход,

Он конфиденциально переговорил с преподавателями

французского языка мосье Грио и мосье Чижуевым и попросил их в ближайшую диктовку включить слова: ваш восторженный поклонник.

А потом сидел всю ночь напролет и сличал почерки полутораста тетрадей с почерком на карточках. Работа эта была нешуточная, зато и результаты ее оказались значительными.

Патаниоти писал в точности как Арсен Люпен!

Правда, судя по всем его письменным работам, он был весьма слаб в орфографии и едва ли смог бы самостоятельно сочинить даже самую простую из всех надписей на карточках.

Однако и тут сразу же удалось докопаться до истины. Овцын оказался превосходным знатоком французского языка. Конечно, он сочинял все фразы за Патаниоти, и, конечно, это было лишь хитрой уверткой, рассчитанной на то, чтобы сбить с толку расследование.

Разгадав ее, Посохов настолько обрадовался, что эти свои мысли озаглавил:"Сеть сужается".

8

Во всех ротах, кроме старшей, унтер-офицерам была отведена отдельная комната, носившая наименование унтер-офицерской курилки.

Мебель в такой комнате стояла нехитрая: все те же желтого дерева конторки и табуреты, но, как это явствует из самого ее названия, в ней разрешалось курить, а значит, приятно было посидеть и поговорить о разных разностях.

И вечером в унтер-офицерских курилках собиралось немало гостей. Особенно в четвертой роте, где наиболее популярной личностью был Василий Бахметьев.

- Удивительное дело, - сказал барон Штейнгель и от удивления поднял брови.

- Если только ты не врешь, конечно.

- Вру? - возмутился Патаниоти. - Это ты всегда врешь. Нам сейчас перед фронтом прочли приказ. Старый хрен Максимов вышибается по случаю неизлечимой болезни, и вместо него в исполнение обязанностей ротного командира заступает Иван Дерьмо. Так там все и написано.

- Жаль старика, он был безвредный, - сказал Домашенко.- Не знаешь, чем он был болен?

- Каким-нибудь размягчением мозгов, - ответил Бахметьев. - Старческими последствиями юношеских развлечений.

- Не иначе, - согласился Штейнгель и повернулся к Домашенко: - Ты говоришь, он был безвредный, а по-моему, и бесполезный.

- Он скоро подохнет, - решил Патаниоти. - Барон, дай

папиросу.

Наступила тишина, и стало слышно, как за, стеной в галюне кадеты пели переделку старой песни на собственный новый лад. Жалобный голос запевалы затянул:

Ветчина пошел на дно,

И достать нетрудно,

И досадно и обидно.

Пауза, а потом многоголосый хор:

Ну да ладно, все одно.

Это была длинная, местами не слишком приличная песня, и особых симпатий к своему ротному командиру в ней кадеты не проявляли.

- Красиво поют, - улыбнулся Домашенко, но Бахметьев покачал головой:

- Ветчина поет еще лучше. Сегодня после строевого ученья опять развлекал публику. Бегал взад и вперед, кричал: "Мне и государю императору таких, как вы, не надо" - и от злости кудахтал.

- Вот дурак! - обрадовался Патаниоти. - Совсем как в наше время орал. Ему и государю императору!

- Дураки бывают разные, - сказал Домашенко.- Ветчина плохой дурак. Хитрый. Даже в глаза никогда не смотрит.

- И все старается перед начальством отличиться,- поддержал Штейнгель.

Бахметьев встал, подошел к печке и приложил к ней ладони. Неизвестно почему, в этот вечер он чувствовал себя исключительно скверно. Он определенно устал от всего, что делалось на свете.

- Знаешь, Штейнгель, - сказал он наконец, - ты зря осудил старика Максимова. Он совсем не был бесполезным. Может, помнишь, у Салтыкова хорошо сказано насчет разных губернаторов. Польза была только от тех, которые ничего не делали и никому не мешали.

- Не читал, - ответил Штейнгель. - И не согласен. Чтобы была польза, нужно работать.

- Ты немец-перец. Ты не понимаешь нашей великой, прекрасной и неумытой славянской души. Ты любишь деятельность, а у нас она, видишь ли, ни к чему. Все равно никакого толку не получается.

И Бахметьев закрыл глаза. С какой стати все эти мысли лезли ему в голову? Откуда они взялись?

- Ты городишь чушь, - сердито сказал Штейнгель.

Отчего у него было такое на редкость поганое настроение? Может, от всего, что творилось дома, а может, от мыслей о Наде?

Нет, лучше было не думать, а говорить.

- Дурацкая жизнь, друг мой барон фон Штейнгель-циркуль. Подумай о том, что тебя ожидает. Вот ты вырастешь, будешь служить, как пудель, примерно к тысяча девятьсот тридцать второму облысеешь и станешь капитаном второго ранга. Наверное, твоей жене надоест, что ты все время плаваешь, и придется тебе перейти в корпус. Получишь роту, поставишь ее во фронт и начнешь перед ней бегать и петь насчет государя императора, Штейнгель покраснел, но сдержался:

- Неостроумно. Попробуй еще раз.

- Ладно, - вмешался Домашенко. - Не обращай на него внимания. У него просто болит живот, и круто повернул тему разговора: - Итак, друзья мои, начинается славное царствование Ивана. Интересно знать, какое прозвище утвердит за ним история.

- Иван Грязный, - быстро ответил Бахметьев, и Патаниоти пришел в восторг: - Вот здорово! Вот орел!

- Правильное прозвание, - согласился Домашенко.- Теперь второй вопрос: что предпримет по сему торжественному случаю наш Арсен Люпен?

Бахметьев поморщился:

- Какую-нибудь очередную пакость. Он мне надоел.

- Ты спятил! - возмутился Патаниоти. - Он же герой! Как хочет долбает начальство, а ты рожи строишь!

-Не хорохорься, грек, - успокоил его Бахметьев. - Допустим, что он герой. А что дальше? Кому и, на кой черт нужно все его геройство?

- Дурак, - пробормотал Патаниоти,- честное слово, дурак, - и больше ничего не смог придумать.

Вместо него заговорил Домашенко:

- Насколько я понимаю, сейчас он начал борьбу с кляузной системой штрафных журналов. Утащил эти журналы из всех рот, кроме нашей шестой, и, надо полагать, все их уничтожил.

- Вот! - обрадовался Патаниоти. - А ты скулишь: кому и на кой черт? Он еще сегодня утром спер из шинели Лукина штрафные записки и вместо них сунул ему в карман бутылочку с соской. Разве не здорово?

Это, действительно, вышло неплохо. Соска была намеком на слишком моложавую внешность мичмана Лукина и форменным образом довела его до слез. Он нечаянно вытащил ее из кармана перед фронтом роты.

- Ну хорошо, грек. Допустим, что здорово, - согласился Бахметьев. - Только миленький пупсик Лукин завтра заведет новые штрафные записки, а в ротах послезавтра появятся новые

журналы. Только и всего.

- Нет, - сказал Домашенко. - Кое-чего он добился. Начальство никогда не сможет на память восстановить все старые грехи всего корпуса.

- Чем плохо? - спросил Патаниоти.

- А что хорошего? - вмешался Штейнгель. - По-моему, это просто неприлично. - От волнения он остановился и пригладил волосы. - Я совсем не хочу защищать начальство. - Нужно было как-то объяснить, что он всецело на стороне гардемаринского братства, но подходящие слова никак не приходили. - Я не против Арсена Люпена, только это никуда не годится. Вы поймите: мы состоим на службе в российском императорском флоте.

- Ура! - вполголоса сказал Патаниоти, но Штейнгель не обратил на него внимания.

- Значит, мы должны уважать все установления нашей службы, а ведь это самый настоящий бунт. Чуть ли не революционный террор.

- Ой! - не поверил Домашенко. - Неужто?

- Так, - сказал Бахметьев. - Значит, нам нужно уважать все установления. И Ивана тоже? Штейнгель снова покраснел:

- Ты не хочешь меня понять. Иван, конечно, негодяй, но он офицер, и так с ним поступать нельзя. Ведь мы сами будем офицерами.

- Да, офицерами! - воскликнул Патаниоти. - Но не такими, как Иван. Это ты, может быть...

- Тихо, - остановил его Бахметьев. - Ты по-своему прав, Штейнгель, только мне твоя логика не нравится. По ней выходит, что любой подлец становится неприкосновенным, если состоит в соответствующем чине.

- Как же иначе? - И Штейнгель развел руками.

- Как же иначе, - усмехнулся Бахметьев. - Знаменитая прибалтийская верноподданность.

- А ты? - холодно спросил Штейнгель. - Разве не собираешься соблюдать присяги?

- Не беспокойся, барон, - сказал Домашенко, - он не хуже тебя собирается служить.

- Ивана нужно уважать, - медленно повторил Бахметьев. - Иван есть лицо неприкосновенное. - Подумал и совсем другим голосом спросил: - А как ты думаешь, можно было убивать Гришку Распутина?

Штейнгель поднял брови:

-Опять не понимаешь. Что же тут общего? Распутин был грязным хамом. Своей близостью позорил трон. Его убили верные слуги государя. - И вдруг остановился. Переменился в лице и

даже отер лоб платком. - Знаешь что? Пожалуй, его все-таки нельзя было убивать.

Снова наступила тишина, и снова стало слышно пение за стеной. На этот раз глухое и совсем печальное. Потом под самой дверью просвистела дудка дежурного "ложиться спать!".

Мне кажется не случайным, что Бахметьев вспомнил об убийстве Распутина. Все, что происходило в корпусе, вплоть до Арсена Люпена, было лишь отражением событий, постепенно захватывавших всю страну.

Только Штейнгель ошибся. Это ни в коем случае не было революционным террором или бунтом. Это была всего лишь дворянская фронда.

- Пойдем спать, - предложил Домашенко и был прав, потому что другого выхода из разговора не существовало.

9

Самым приятным местом в корпусе, бесспорно, был лазарет, и попасть в него особого труда не представляло. Для этого нужно было утром прийти на амбулаторный прием и устроить себе воспаление слепой кишки, ларингит или просто повышенную температуру.

Воспаление слепой кишки изображалось глухими стонами при нажимании соответствующих частей живота, но далеко не всегда выглядело убедительным, потому что больному трудно было решить, когда следует стонать, а когда нет.

Ларингит действовал значительно надежнее, но требовал предварительной подготовки. В гортань через трубку вдувалась небольшая порция соли, после чего следовало подышать у раскрытой форточки.

Легче всего получалась повышенная температура - либо при помощи носового платка, подогретого на паровом отоплении, а потом пристроенного рядом с термометром, либо осторожным пощелкиванием головки термометра ногтем большого пальца. Последний способ пользовался наибольшим распространением, хотя и содержал в себе некоторую долю риска: легко было загнать ртуть на сорок градусов и с позором вылететь с приема.

Наиболее уютной из всех палат лазарета считалась палата старшей роты. Из ее окон через двор был виден столовый зал, и утром в ней можно было, лежа на койке, наблюдать, как твои товарищи старательно прогуливаются церемониальным маршем.

- Прекрасное зрелище,- потягиваясь, говорил в подобных случаях Борис Лобачевский, - возвышающее душу.

Он безошибочно умел попадать в лазарет, когда ему только хотелось, и обязательно выписывался в пятницу, чтобы в субботу пойти в отпуск.

- Ты непоследователен, - с досадой возражал ему всерьез болевший желудком Котельников. - Ты же всегда говоришь, что не любишь воинских забав.

- Я не люблю в них участвовать, - отвечал Лобачевский, - а потому мне доставляет удовольствие смотреть, как ими занимаются другие. - Он отлично умел ладить со всеми врачами и даже со сварливым Оскаром Кнапперсбахом, по специальности акушером и назначенным в корпус по совершенно загадочным соображениям.

Во время его ночных обходов он, в точности подражая его голосу, в нос кричал;

- Оскар! Оскар! Что ты со мной сделал?

- Ну что я с вами сделал? - удивлялся Кнапперсбах, еще не успев определить - сердиться ему или беспокоиться.

- Простите, ваше превосходительство, - очнувшись, говорил Лобачевский, - у меня был бред.

От такого ответа Кнапперсбах сразу таял, он был всего лишь статским советником и на величание превосходительством права не имел.

- Успокойтесь, молодой человек, успокойтесь. Фельдшер, дайте ему брому,

И, вылив бром в плевательницу, Лобачевский успокаивался, потому что цель его была достигнута. Его не пускали в классы, и письменную работу по астрономии он мог делать в своей палате, что было чрезвычайно удобно.

В превосходном расположении духа он однажды встретил в коридоре толстую сестру Пахомову, которая потрясала кулаком и бормотала, видимо, недобрые слова.

За шесть лет верной службы она не получила ни единой награды и только что из письма подруги узнала, что та награждена уже дважды. От этого она настолько расстроилась, что ее накладные волосы съехали набекрень.

- Безобразие, - согласился с ней Лобачевский,- наверное, козни Оскара.

В этом она не сомневалась и по адресу Кнапперсбаха произнесла яростную обвинительную речь. Он был злым, негодным старикашкой и преследовал ее за то, что сам разбил кружку Эсмарха.

- Сударыня, - сказал Лобачевский, - хорошо, что вы меня встретили, потому что с моей помощью справедливость восторжествует, - и обещал похлопотать о награде через своего вымышленного дядю, товарища морского министра. - Напишите прошение, уважаемая сестра.

Но сестре это оказалось не под силу, и за нее написал он сам.

На четырех страницах, решительно обо всем, начиная с разбитой кружки и кончая сестрами, награжденными за то, что они ухаживали не столько за больными, сколько за здоровыми.

Растроганная сестра Пахомова подписала прошение и подарила Лобачевскому среднего размера выборгский крендель.

Конечно, Лобачевский собрал у себя в палате своих друзей, щедро угостил их кренделем и прошением и попросил высказаться.

Друзья были в восторге и постановили Пахомову наградить. Она этого заслуживала.

Андрюша Хельгесен обещал принести из дому большую серебряную медаль, полученную его пойнтером на собачьей выставке, а Домашенко и Бахметьев взялись составить подобающий случаю приказ.

Торжество вручения медали происходило конспиративным порядком, в тишине зубоврачебного кабинета, и сестра Пахомова волновалась.

Бахметьев произнес речь в стиле речей его превосходительства директора. Покашливал и, останавливаясь, долго рассматривал потолок.

Затем Домашенко строго официальным тоном огласил приказ, и Лобачевский на резиновой надувной подушке поднес сестре синюю бархатную коробку с медалью.

Последним выступил Хельгесен. Тоже с речью, но на французском языке, и с букетом из шести белых роз по одной за каждый год службы сестры.

Прочие сдержанно аплодировали и приносили свои поздравления.

- Послушайте, - вдруг перебила их сестра, - почему же на этой медали изображены две собачки?

Лобачевский, однако, не растерялся.

- Это символ верности и милосердия, - пояснил он и посоветовал медаль ни в коем случае никому не показывать. - Оскар страшно разозлится, если узнает, что прошение шло помимо него.

- Конечно, конечно, - согласилась сестра. Спрятала медаль на груди, а цветы под фартуком и убежала, сияя гордостью.

- Жизнь великолепна, - резюмировал все происшедшее Лобачевский, - но больше всего я хотел бы быть на ее месте, ибо, как известно, только дураки испытывают совершенное счастье.

- Брось, - с неожиданной резкостью ответил Бахметьев. - Мы с тобой тоже дураки.

10

В ночь с пятницы на субботу над койками растопыренными

пальцами вверх сушились в мыле свежевымытые замшевые перчатки.

Утра субботы начиналось особо приподнятым настроением духа и особо старательным приведением в порядок собственной своей персоны.

До завтрака шли занятия, на которых трудно было сосредоточиться. Лекции тянулись значительно дольше обычного, и без часов казалось, что звонок определенно запаздывает.

Зато после завтрака время летело вихрем. Не хватало платяных и сапожных щеток, и перед зеркалами собиралось столько народу, что бриться приходилось, выглядывая из-за плеча впереди стоящего.

В два часа начиналось долгожданное увольнение.

- Господин лейтенант, старший унтер-офицер четвертой роты Бахметьев просит разрешения идти в отпуск. Билет номер тридцать два.

- Идите, - разрешил дежурный офицер, и, повернувшись кругом, Бахметьев пошел.

Он шел невесело. Он совсем не испытывал той радости, которую ему следовало бы испытывать, и даже ясный морозный день на набережной не принес ему облегчения.Снег скрипел под его ногами, иней садился ему на башлык, солнце высоко стояло над Невой, и трамваи с веселым звоном сворачивали на Восьмую линию.

- Вася! - позвал его запыхавшийся Овцын. - Чудесно!

- Да,-согласился он, хотя ничего чудесного вокруг себя не видел. - Прости, мне налево. Я домой.

Овцын специально бежал, чтобы его догнать, и, конечно, обиделся. Но сразу же забыл о себе, потому что очень любил Бахметьева.

- Что с тобой такое?

- Со мной ничего такого, - сухо ответил Бахметьев. Приложил руку к фуражке и быстро зашагал прочь.

Теперь он совершенно зря обхамил добрейшего Степу Овцына, и от этого ему стало еще хуже. Жизнь была невыносимо глупой и просто ни к черту не годилась.

Дома ждала расслабленная, вечно страдающая мать, запах одеколона и валерьяновых капель, новые жалобы на карточную игру усатого купидона отчима, на скверный характер хмурой сестры Вареньки, на масло, которое стоило полтора рубля фунт, на прислугу и на погоду.

Конечно, с деньгами было плохо, совсем плохо. Конечно, с фронта от старшего брата Александра снова не было писем. И конечно, у Вареньки уже сидела ее подруга Надя, которую лучше

было бы никогда в жизни не встречать.

Лихость. Проклятая, никому не нужная гардемаринская лихость. Пользуйся обстоятельствами и действуй. И как назло, обстоятельства сложились благоприятно.

Он совсем не хотел на ней жениться. Она слишком много вздыхала и говорила о любви. У нее был альбом с невозможными стихами и коллекция фотографий актеров, которых она обожала.

Он вообще не собирался жениться сразу же по выпуске из корпуса. Это было бессмысленно и даже опасно для службы, и все-таки неизбежно. Есть вещи, которых порядочные люди, к величайшему сожалению, не делают. Но даже с женитьбой дело обстояло не просто. До выпуска оставалось пять с половиной месяцев, - слишком длинный срок в данном неприятном случае. Значит, предстояли объяснения с ее родителями и дома, укоры, нравоучения, слезы, истерики и всякое прочее.

- Моряк, - вдруг окликнул его картавый голос, и он остановился. Прямо перед ним стоял с иголочки одетый, несомненно новоиспеченный, прапорщик какого-то четыреста двадцать седьмого пехотного полка.

- Честь полагается отдавать!

У прапорщика были голубые глаза навыкате и вообще не слишком умный вид. Можно было попытаться его разыграть:

- Прошу прощения, я не моряк, а старший гардемарин.

Прапорщик явно не понял что к чему, но все же решил поднять брови:

- А что из этого, собственно говоря, следует?

- Собственно говоря, - строгим голосом повторил Бахметьев, - из этого следует, что я старше вас и что вам первому надлежало меня приветствовать.

- Позвольте... - начал было прапорщик, но рукой в белой перчатке Бахметьев его остановил.

- Вам не мешало бы знать, что флотский чин мичмана соответствует чину поручика и что старший гардемарин, чин, предшествующий мичманскому, есть не что иное, как подпоручик.

- Для большей убедительности положил руку на палаш с офицерским темляком и кивнул головой: - Будьте здоровы.

Сошло. Определенно сошло. Прапорщик так и остался стоять с разинутым ртом. Лихо было сделано! Но внезапно Бахметьев замедлил шаг. Это опять была та самая гардемаринская лихость, черт бы ее побрал.

У дверей булочной шумели какие-то бабы. Почему их было так много и чего им не хватало?

Сидя на тумбе, плакал пьяный извозчик. Плакал и

безостановочно повторял:

- Убили! Убили!

Смешно! Он вытирал слезу кулаком, в котором был зажат кнут. А может быть, это было совсем не смешно.

Все равно задумываться не приходилось. Навстречу, на буксире у дряхлого осанистого бульдога, шел совсем такой же дряхлый отставной генерал. Нужно было, развернувшись, стать во фронт и ждать, пока кто-нибудь из них не соблаговолит отдать честь или сказать: "Проходите!"

Было бы отлично, если бы соблаговолил бульдог, и от этой мысли Бахметьев невольно улыбнулся.

Нет, жизнь все-таки была забавной. И солнце светило на полный ход, и воробьи чирикают как следует, и даже огромный серый дом на углу Шестой линии и Среднего выглядел приветливо.

- Здравствуйте, Василий Андреевич, - открывая ему дверь, сказал швейцар, величавший его Василием Андреевичем с тех пор, как ему исполнилось пять лет. Какова погодка-то!

- Красота, Терентий, красота! - согласился Бахметьев и через ступеньку побежал наверх. Все-таки чудесно было возвращаться домой, и, наверное, дома его ожидала какая-нибудь приятная неожиданность. Не иначе как Надя ошиблась. Он позвонил резко и радостно, но в прихожей сразу похолодел. Его встретили сестра Варенька и злополучная Надя, обе молчаливые и обе с заплаканными глазами. Все было ясно, и теперь следовало взять себя в руки. Он выпрямился и сказал:

- Девицам привет!

-Здравствуй, - тихо ответила Надя, а Варенька только опустила голову.

Из кабинета отчима доносились заглушенные рыдания матери. Значит, ей уже рассказали. Глупые девчонки. Пакость. Впрочем, рано или поздно это все равно должно было случиться, и теперь оставалось идти напрямик.

Он усмехнулся, оправил мундир, но, раскрыв дверь в кабинет отчима, почувствовал, что у него дыбом становятся волосы.

Откинувшись на спинку глубокого кресла, перед письменным столом сидел человек в защитном кителе с погонами артиллерийского капитана. Нет, не человек, потому что вместо головы у него на плечах был бесформенный шар из белого бинта.

И это был брат Александр.

11

Белый шар потом преследовал его во сне. Он так же медленно и невнятно говорил, и от его голоса холодели руки.

Войны не было, была глупость и подлость. Войны не было,

был разгром, бойня, и теперь никакие снаряды не могли помочь. Грязь, вши и трупы. Самые разные: целенькие и рваные на куски, а на стене одного откоса троих солдат разрывом тяжелого снаряда расплющило в дикий карикатурный барельеф.

Перестань, - просил Бахметьев, но шар, расплываясь, качался в воздухе и смеялся. Смеялся с трудом, захлебываясь и кашляя, и Бахметьеву хотелось кричать, потому что это был брат Александр.

Нужно было от него бежать, но не слушались ноги, и останавливалось сердце, и нечем было дышать. Из последних сил он откидывался назад и просыпался в сводчатой, полутемной спальне четвертой роты.

Под красными одеялами лежали тела, и это было невыносимо страшно. Чтобы успокоиться, он вставал и шел пить воду, а потом, вернувшись, ложился и старался не уснуть. Слушал, как тяжело дышат спящие, и ждал, чтобы окна начали светлеть. Но окна не светлели, и он снова забылся и снова видел белый шар. И опять просыпался в испарине с металлическим вкусом во рту.

- Ты болен, - на следующий день сказал ему Лобачевский, и Бахметьев рассказал ему все, что мог.

- У меня в самом начале батьку убили, - ответил Лобачевский. - Но это тебе известно. - Подумал и взял Бахметьева за локоть. - Слушай, послезавтра у нас репетиция по минному делу, а я, как любила выражаться моя покойная бабушка, ни хрена в этом самом деле не смыслю. Будь другом, расскажи мне что-нибудь о пресловутой самодвижущейся мине образца двенадцатого года.

Но это не помогло. Бахметьев был просто не в состоянии рассказывать о минах.

- Тогда идем на кухню, - предложил Лобачевский.-Там сегодня Степа дежурит. Потребуем у него пирожных или, на худой конец, горбушек.-Идем! - увлек за собой сопротивлявшегося Бахметьева и всю дорогу болтал без умолку.

Патаниоти сочинил для Ивана новое прозвище: полицейская ищейка Трезор. Вообразил, что это необычайно остроумно, и ходил счастливый. Всем рассказывал и первый смеялся, но в конце концов напоролся на Ивана. Сел на десять суток.

Иван неизвестно почему старательно выслеживал Степу Овцына. Все с ним заговаривал и всюду за ним ходил, а вчера вечером полез за ним даже в гальюн.

Тут, однако, произошло неожиданное и прелестное происшествие. Старательный Котельников, решив почтить нового ротного командира, сдуру скомандовал: "Смирно!"

Конечно, для веселья все вскочили кто как был, и получилось табло. Котельников сел тоже на десять суток.

Вообще Иван свирепствует и, кроме всего прочего, клянется, что выведет Арсена Люпена на чистую воду. Подбил себе на ботинки резиновые подметки, ходит как привидение и одним видом своим вселяет в окружающих ужас.

Бахметьев шел молча. Ему было страшно слушать Лобачевского. Как будто тот говорил на не совсем понятном иностранном языке о вещах, которых он никогда в жизни не видел.

Тогда Лобачевский переменил тактику:

- Брось о своем думать, слышишь? Когда убили отца, я тоже сходил с ума, а потом понял - не надо думать. Надо что-нибудь делать. Все равно что.

- Ты прав, - ответил ему Бахметьев,- спасибо.

В буфетной красной медью блестели чудовищные стенные самовары, и перед ними суетились люди в белом. От длинной шеренги супников шел теплый, вкусный пар.

- Это война, - сказал Лобачевский, спускаясь по лестнице в кухню. - И твой брат еще дешево отделался. Челюсть у него зарастет, а с одним глазом люди тоже живут. Нельзя только смотреть в стереоскоп, но это несущественно. И тем же равнодушным голосом закончил: - Вот мы и пришли.

Навстречу им на противнях несли сотни уложенных плотными рядами котлет и в огромных чанах дымящиеся горы пюре. Здесь, внизу, было еще больше движения, чем в буфетной, и только впереди, за стеклянной перегородкой, было тихо. Там сидел скучающий Стёпа Овцын с тремя младшими дежурными гардемаринами третьей роты.

Лобачевский открыл застекленную дверь и низко поклонился:

- Степан, мы бьем тебе челом. Наши организмы требуют еды и, в частности, пирожных.

12

Арсеном Люпеном, по-видимому, овладел приступ бешенства. За два дня он натворил столько дел, сколько за все время своей плодотворной деятельности.

Его превосходительству директору прислал дешевый венок из железных цветов с надписью на траурной ленте: "Дорогому и незабвенному Виктору Алексеевичу от А. Люпена".

Начальнику строевой части генерал-майору Федору Ивановичу Федотову преподнес парадный кивер Павловского военного училища с запиской: "По Федьке шапка".

Дежурившего по корпусу Ветчину телеграммой предупредил, что ночью бриг "Наварин" выйдет в плавание, и действительно в ту же ночь, открыв пожарные краны, затопил весь столовый зал.

В лазарете вывесил плакат: "Завтра поставлю Оскару клизму"

- и так напугал бедного Оскара Кнапперсбаха, что тот на следующий день не явился на службу.

И наконец, ликвидировал журнал классных взысканий, что, пожалуй, было самым потрясающим из его подвигов.

Журнал хранился в кабинете инспектора классов, и, чтобы попасть в этот кабинет, нужно было пройти через классную канцелярию, где постоянно сидел похожий на мышь писарь.

Писарь был на месте, и сам инспектор классов генерал-лейтенант Кригер как раз просматривал журнал, когда пришел один из дневальных пятой роты и доложил, что его превосходительство инспектора какой-то гардемарин просит выйти в коридор.

В этом не было ничего необыкновенного, и Кригер вышел вслед за дневальным. В коридоре, однако, никого не оказалось, и, на всякий случай посмотрев по сторонам, он вернулся к себе.

Лежавший на столе журнал был разорван в клочки и сверху залит черными и красными чернилами и вдобавок гуммиарабиком. Конверт со штрафными записями пропал, а вместо него лежала визитная карточка Арсена Люпена.

Писарь все время сидел на месте. Кто и каким образом мог проникнуть в кабинет и потом бесследно исчезнуть?

- Входили ко мне в кабинет, пока меня здесь не было?

- Никак нет, - ответил писарь неестественно громким голосом, и Кригер вспомнил: он был глуховат испрашивать его о том, слышал ли он в кабинете какую-нибудь возню, не стоило.

А потому он приказал ему взять то, во что превратился журнал, и вместе с ним направился к дежурному по корпусу.

Как нарочно, дежурил Иван Посохов. Выслушав Кригера, он стал пепельно-серым и забегал по своей комнате.

- Эти вещественные доказательства нового злодеяния врага...- и от волнения задохнулся. - Ваше превосходительство, они вопиют о мщении, но, клянусь, я отомщу!

Кригер пожал плечами. Он был умным человеком, и пафос Ивана Посохова ему не понравился.

- Делайте ваше дело, - и повернулся, чтобы уйти, но Посохов его остановил: - Разрешите осмотреть место происшествия?

Не хотелось, однако пришлось разрешить. Посохов обошел весь кабинет, обстукал стены и внимательно обследовал замазанное на зиму окно. Потом, забравшись на стул, заглянул в вентилятор, потрогал вьюшку и сокрушенно покачал головой. Потом спустился и принялся за письменный стол.

Чуть что не обнюхивал каждую бумажку и, прищурившись, отыскивал на опрокинутых чернильницах неизвестно зачем ему понадобившиеся оттиски пальцев преступника.

Наконец Кригер не выдержал:

- Вы бы лучше допросили писаря и дневального. - И, увидев, что Посохов уже вытаскивает из кармана свою красную записную книжечку, поспешно добавил: Только где-нибудь в другом месте. Мне нужно работать.

Иван раскланялся и ушел, и с ним ушел больше чем когда-либо похожий на перепуганную мышь писарь. Теперь можно было спокойно подумать.

За двадцать два года службы в корпусе он не видел ничего подобного, И не слыхал, чтобы раньше такое случалось.

Странные наступили времена. Гардемарины играли в разбойников, а офицеры в сыщиков. Что здесь было причиной и что следствием?

Кригер пожал плечами. В конце концов это было безразлично. Игра получалась плохая, очень плохая. Она расшатывала самые основы всей системы корпуса, и чем она кончится, просто нельзя было себе представить.

А с чего она началась?

Гардемарины были такие же, как всегда. Как всегда, был хороший преподавательский состав и посредственный строевой. Директор, в конце концов, такой же, как все прочие директора.

Кригер опустил голову на руки и закрыл глаза. Ему было не по себе.

- В чем же дело? - вслух сказал он, и внезапно рядом с ним зазвонил телефон. - Слушает инспектор классов.

- Ваше превосходительство, - пропищала телефонная трубка,- с вами говорит Арсен Люпен.

- Так... - И после небольшой паузы добавил: - Чему обязан?

- Разрешите принести вам свои извинения. Я вас глубоко уважаю и очень сожалею, что принужден был напакостить в вашем кабинете.

Кригер улыбнулся печальной улыбкой.

- Что же вас к этому принуждало?

- Моя борьба со всяческими кляузами. Вы ведь понимаете, ваше превосходительство.

И совершенно неожиданно Кригер понял. Несмотря на свою седину и тяжелое золото генеральских погон, вдруг почувствовал себя самым настоящим гардемарином. Это было очень глупое чувство и очень хорошее. От него он даже покраснел.

- Допустим, что понимаю. - И во что бы то ни стало захотелось узнать, каким путем этот юноша прошел к нему в кабинет. - Послушайте, господин Люпен, как вы все это проделали?

Теперь на другом конце провода наступила пауза. Наконец

Арсен Люпен заговорил. Он готов был все рассказать и надеялся этим хоть отчасти загладить свою нетактичность.

Все обстояло чрезвычайно просто. Еще до прихода его превосходительства инспектора писарь из классной канцелярии был вызван в приемную к городскому телефону. Зря, конечно, потому что ему никто не ответил. Но отнюдь не случайно, ибо к его возвращению Арсен Люпен уже сидел в одном из шкафов в кабинете инспектора классов.

Из этого шкафа он вышел, когда, также не случайно, вызвали самого инспектора в коридор. Сделал все, что ему требовалось сделать, и вернулся в тот же шкаф. Окончательно покинул его, а заодно и кабинет, когда остатки журнала были отнесены к дежурному по корпусу.

Что, если бы нечаянно инспектор этот шкаф открыл? К счастью, этого не случилось, но Арсен Люпен был в маске и, несомненно, прорвался бы (пауза), несколько обеспокоив инспектора.

- Нахал же вы, я вам скажу.

- Так точно, - ответил Арсен Люпен, - но, согласитесь, иначе мне нельзя.

Соглашаться не было никакой охоты. Уже наступила реакция против прилива мальчишеских чувств, и левую руку свело внезапно проснувшимся ревматизмом. По-настоящему этого Арсена Люпена следовало бы изловить и выпороть! Вернее - с треском выгнать вон из корпуса.

- Откуда вы говорите?

- Из лазарета. Только простите, ваше превосходительство, ведь вы же не Иван Посохов.

Негодяй! Понял, в чем дело, и имел наглость прямо об этом сказать.

- Плохо кончите! - рассердился Кригер, повесил трубку и оттолкнул от себя телефон. Чтобы успокоиться, вынул из кармана носовой платок и громко высморкался.

Глупости. Конечно, он не был Посоховым и даже не собирался кому-нибудь рассказывать о своем телефонном разговоре, но то, что творилось в корпусе, было просто страшно. Просто невероятно.

И откуда только все это пошло?

Он все свое внимание и все свое время отдавал службе и не успевал думать о сдвигах, происходивших в большом городе за стенами корпуса и в огромной стране за пределами города.

13

На репетицию по минному делу Бахметьев явился с опозданием. Его задержали в роте всякие служебные обязанности,

и он очень извинялся.

- Чепухи, чепухи! - густым басом успокоил его преподаватель по минному делу, необъятной толщины генерал-майор Леня Грессер. - Садитесь, молодой юноша, и вытрите вашу физиономию. Она у вас мокрая.

Бахметьев действительно был весь в испарине, и в ушах у него тяжелыми ударами отдавался пульс. Только усилием воли ему удалось включиться в окружающую его обстановку.

- Благодушен? - шепотом спросил он, садясь рядом с Домашенко.

- Не слишком, - ответил тот. - Зарезал Котельникова на приборе Обри. Обозвал его зубрилой и глупым попугаем.

Бахметьев раскрыл свою тетрадь, но в ней было слишком много чертежей. И он до сих пор не мог отдышаться. На полу огромными блестящими рыбами лежали две торпеды. Третья, с вырезанными в стенках окнами, внутренностями наружу, стояла на козлах. Длинный стол, перекрытый брезентом, был полностью завален отдельными механизмами и деталями.

Противно на все это было смотреть, и Бахметьев отвернулся.

- Ну вот! Ну вот! - басил Леня Грессер. - Значит, вам, уважаемый господин Овцын, кажется, что в подогреватель наливают спирт. Напрасно! Совершенно напрасно!

- Так точно, напрасно, - с места подтвердил Лобачевский. - Спирт наливают в маленькие рюмки.

- Вот это другое дело, - обрадовался Грессер, но вспомнил, что сейчас время не для шуток, и сделал строгое лицо. - Сидите тихо, нахал Лобачевский. Сами-то вы тоже ни черта не знаете.

- Что вы? - всплеснул руками Лобачевский. - Ваше превосходительство! Да ведь я больше всего на свете интересуюсь минным делом и когда-нибудь непременно стану флагманским минером Балтийского моря.

- Ну, тихо, тихо!

Но за всеми разговорами Леня Грессер не заметил, как Домашенко из-под парты показал Овцыну бумагу, на которой было написано: "керосин".

- Никак нет, керосин, - спешно поправился Овцын, - я оговорился.

- Ну понятно, керосин. Ясно, что керосин. Самый обыкновенный, который наливают, например, в примус. - Леня Грессер остановился, почесал бороду вставочкой и провозгласил; - Оговариваетесь и плаваете. Садитесь, семь баллов.

- Ваше превосходительство! - нараспев огорчился Лобачевский. - Мы вас так любим!

- Мы вас так любим! - подхватило еще несколько голосов.

- Чепухи! - неуверенно заговорил Грессер. - Негодные мальчишки! Очень мне нужна ваша любовь! Плевать я хотел на вашу любовь! - Но тем не менее переправил отметку, которую только что поставил в журнал.

- Овцын, убирайтесь вон. Нечего подглядывать. Девять, хотя вы этого не стоите. Понятно?

Подумал и вызвал сразу двоих: - Бахметьев, Домашенко, пожалуйте сюда.

- Есть, - вставая, ответили оба вызванные, и, к своему удивлению, Бахметьев почувствовал, что не волнуется. Вероятно, его успокоил хороший голос Лени Грессера.

- Ну-с, вы нам сейчас кое-что порасскажете, только подождите минутку. Плетнев, а Плетнев!

Сидевший у печки инструктор по минному делу старший минный унтер-офицер Плетнев молча встал и подошел к Лене. Он был всего лишь матросом, но в своих отношениях с генералом Грессером не слишком придерживался уставных формальностей, и тот не протестовал.

- Будь другом, Плетнев, поверни мне эту штуковину. Я сегодня не могу. Я запыхался.

Штуковина оказалась многопудовой хвостовой частью, но в руках Плетнева повернулась с совершенно неожиданной легкостью.

- Ну и молодец! Вот спасибо!

Однако и тут Плетнев не произнес ни одного слова. Он был знающим и исполнительным специалистом, но на редкость молчаливым человеком. Надо полагать, что Лене Грессеру это даже нравилось, потому что сам он обладал способностью говорить за двоих.

- Итак, Домашенко, мы с вами потолкуем о рулевом устройстве, а Бахметьев пока что подумает о том, как производится изготовление к выстрелу,

Это был самый пустяковый вопрос, какой только мог быть, и, конечно, Бахметьев к нему не приготовился. Впрочем, за все последнее время ему вообще было не до подготовки. А плавать, как Овцын, было просто стыдно.

Домашенко отвечал уверенно и с прохладцей. Видимо, знал свою рулевую машинку в совершенстве.

- Черт, - пробормотал Бахметьев, Обидно было, что эта самая машинка попалась не ему, Он тоже мог бы о ней порассказать.

Изготовление к выстрелу - небольшое дело, но в голову без толку, все сразу, лезли ненужные и нужные детали торпеды, и не удавалось сообразить, с чего начать.

Рядом с ним оказался Плетнев. Вероятно, он сразу понял, в

чем дело, потому что взглянул на Бахметьева и улыбнулся одними глазами,

А потом сделал то, чего никак нельзя было от него ожидать, - взял со стола ключи, подал их Бахметьеву и еле слышно сказал:

- Запирающийся клапан, стержень глубины, прибор расстояния.

Наклонился к торпеде и с безразличным лицом стал протирать ее стрижкой. Дошел до хвоста и многозначительно постучал пальцем по стопорам на рулях и гребных винтах.

Почему он это сделал? Он не только никогда не подсказывал, но даже не разговаривал с гардемаринами. И теперь получилось как-то не совсем удобно.

- Бахметьев, прошу рассказывать.

Больше раздумывать было некогда, и Бахметьев заговорил. Чтобы заглушить свои мысли, заговорил быстро и решительно и рассказал все, что следовало.

- Ну, умница, умница! - похвалил его Леня. - Посмотрим теперь, что вы знаете об ударниках.

Об ударниках Бахметьев знал решительно все. Леня подпер голову кулаком и слушал его с видимым удовольствием на лице. Когда он кончил, Леня расплылся широкой улыбкой и обеими руками расправил бороду.

- Ну вот. Все без осечки. Двенадцать, дорогой мой, двенадцать. Продолжайте в том же духе.

Тогда Бахметьев густо покраснел и почувствовал, что дальше оставаться в минном кабинете не может.

- Разрешите идти в роту, ваше превосходительство?

- Сделайте одолжение. Пожалуйста, и будьте здоровы.

И Бахметьев как стоял, так и ушел. Даже позабыл взять из парты свой учебник и тетради по минному делу.

14

В роте стоял сплошной гул. Воспользовавшись отсутствием капралов, кадеты развлекались как умели, и дежурный офицер, лейтенант Птицын, ничего не мог с ними сделать. Он был шляпой.

Первым, кого Бахметьев увидел, был восторженный Лавринович. Он барабанил кулаком по конторке и с увлечением пел "Тореадора", но кому-то это пение не понравилось, и рядом с ним в стену с размаху ударилась табуретка.

Это, конечно, было безобразием и требовало принятия решительных мер. Бахметьев немедленно подошел к месту происшествия:

- Чья это табуретка?

- Казенная, господин унтер-офицер, - вскочив, ответил

Лавринович. Красиво было отвечено. Даже малость слишком красиво. За такую красоту полагалась определенная мзда.

- Благодарю вас. Станете на два часа под винтовку. - Теперь сразу же нужно было найти следующую, жертву. - Кушелев, что вас рассмешило?

- Никак нет, ничего, - растерялся Кушелев. - Я между прочим.

- Советую, между прочим, не хихикать. Готовьте ваши уроки. Это полезнее.

Еще кое с кем пришлось переговорить и еще троих поставить под винтовку. Тогда только в ротных залах наступила тишина, но на всякий случай Бахметьев продолжал прогуливаться между конторками.

Только что на репетиции он был мальчишкой, а сейчас сразу стал начальством и на малейшее нарушение дисциплины был готов немедленно ответить полной мерой дисциплинарного взыскания.

Впрочем, ничего необычного в этом не было. Таковой была любопытная унтер-офицерская психология, над которой сам Бахметьев, кстати сказать, отнюдь не задумывался.

Приводя роту в порядок, он действовал просто по привычке и теперь также по привычке ходил взад и вперед из одного зала в другой.

И вдруг он остановился. Почувствовал, как у него подпрыгнуло сердце и все тело прохватило холодом. Крайним напряжением воли сдержался - ведь на него со всех сторон смотрели кадеты - и медленными шагами пошел к умывалке.

Он в минном кабинете забыл свою тетрадь, а в ней то, что никак не годилось забывать.

Бежать, бежать что есть духу, пока кабинет не закрыли, найти тетрадь и ту штуку разорвать в клочки и спустить в первый попавшийся гальюн.

- Вы уходите, Бахметьев? - пропищал неизвестно зачем слонявшийся по умывалке лейтенант Птицын. Он явно боялся оставаться наедине с кадетами, но на него было наплевать.

- Так точно. Нужно взять у товарища записки по химии.

Для виду пришлось остановиться у лагуна и выпить полкружки воды. Она была тепловатой, с медным привкусом. Сплошной мерзостью.

На лестнице удалось развить самый полный ход, но наверху, в холодном коридоре, склонив голову набок, стоял Ветчина, бежать мимо него не годилось.

- Хм! - ни с того ни с сего сказал он. - Бахметьев!

Черт бы его драл. Теперь начнет разводить всякую муть на воде, нужно будет его слушать.

- Есть.

Ветчина действительно решил прочесть Бахметьеву кое-какую лекцию об обязанностях унтер-офицера. Для порядка он подобные лекции читал ему не реже чем раз в неделю.

Как всегда, начал с лирики. Он помнил Бахметьева еще ребенком, милым шалуном, кадетом шестой роты, и теперь счастлив был видеть его прекрасным юношей, прямо-таки образцовым молодым начальником, сумевшим превосходно поставить себя со своими подчиненными.

Тетрадь лежала в крайней парте справа в первом ряду. Кто-нибудь мог случайно ее взять, и тогда получилось бы такое, что лучше не думать. Слух, конечно, разнесся бы по всему корпусу и рано или поздно дошел бы до начальства. Скоро ли эта гадина кончит свою песню?

Но Ветчина пел дальше. Ему хотелось, чтобы Бахметьев ему помог. По старой дружбе.

Смешная была дружба, но возражать не стоило. Чтобы Бахметьев с этими подчиненными был построже. Мальчишки окончательно распустились, и нужно как следует их подтянуть. Не стесняясь наказывать и обо всех случаях докладывать ему, ротному командиру, потому что ведь все-таки у него было гораздо больше служебного опыта.

Больше служебного опыта - неплохая мотивировка для восстановления попорченной за последние дни системы доносов! Но хуже всего было то, что репетиция уже, наверное, закончилась и в любую минуту кабинет могли закрыть.

А Ветчина, увлеченный собственным красноречием, вздыхал, мотал своим печальным коровьим лицом и до бесконечности развивал все ту же тему;

- Главное, обо всем докладывать, - и тут его голос понизился до таинственного шепота:- Вы понимаете, какое значение имеет эта прискорбная история с Арсеном Люпеном?

Бахметьев невольно усмехнулся, но, к счастью, Ветчина этого не заметил, Все дальше и дальше шептал что-то длинное, путаное и непонятное, и наконец от шелеста его слов у Бахметьева начала кружиться голова.

И вдруг шепот оборвался, и нормальный голос Ветчины спросил:

- Вы нездоровы?

Бахметьев вздрогнул.

- Очень устал, господин капитан первого ранга. Только что сдал минное дело.

Ветчина скосил голову, что у него было признаком подозрительности. Наконец решил сделать вид, будто поверил, и

забеспокоился:

- Ах! Ну конечно, вы устали. Ступайте, отдохните.

Опять пришлось идти не спеша. Мимо пятой роты, мимо лавочки и направо. Но у самых дверей классной канцелярии, темный и задумчивый, стоял Иван Посохов.

К счастью, был свободен обходной путь звериным коридором. Только опять нельзя бежать. Иван мог выглянуть и, заинтересовавшись, заняться слежкой.

Сверху со стен недоброжелательно смотрели огромные лепные звери - кормовые украшения старинных корветов. Рысь припала на передние лапы и склонила голову набок, точно Ветчина. Буйвол поднял плечи и насупился, как Иван Посохов.

Существовало поверье, что этот буйвол приносит счастье. Идя на репетицию или на какой-либо другой риск, рекомендовалось подскочить и, изловчившись, шлепнуть его по соответствующему месту,

Теперь, впрочем, было некогда, нужно было спешить. Но, уже миновав буйвола, Бахметьев вдруг пожалел, что не заручился его поддержкой. Даже замедлил шаг и, чтобы успокоиться, должен был вслух сказать:

- Глупости!

И внезапно оказался лицом к лицу с самим его превосходительством директором. Еле поспел стать во фронт.

- Кхе! - погладив бороду, сказал директор. - Здравствуйте, унтер-офицер Бахметьев.

- Здравия желаю, ваше превосходительство! Откуда он знает его фамилию и с какой стати остановился? Неужели тоже начнет разговор?

- Кхе! - снова кашлянул директор. - Гуляете?

- Так точно, гуляю.

Пауза. Длинная, мучительная. Что же дальше?

- И я тоже гуляю, - сказал наконец директор.

- Ха-ха, - и, величественно повернувшись, пошел восвояси.

Пронесло! Мимо парадной лестницы Бахметьев уже бежал и в картинной галерее чуть не натолкнулся на пасшегося там Степу Овцына.

- Слушай! - обрадовался Степа, хватая его за рукав. - Арсен Люпен выкинул новый трюк.

- Отстань. Знаю.

Но Степа не хотел его выпускать:

- Да нет же, не можешь знать. Нам только что рассказал Шевелев. У Кригера в кабинете...

- Все знаю. Журнал классных взысканий, - перебил Бахметьев и сразу понял, что зря сболтнул. - Нам тоже Шевелев рассказал.

Пустишь ты меня или нет?

Овцын покорно его выпустил, и он снова побежал. Теперь было безразлично, лишь бы не опоздать. Через пустой, полутемный и бесконечный столовый зал. Вправо, в лазаретный коридор. Еще немного - и вот дверь минного кабинета.

Но дверь оказалась закрытой, и сквозь стекла было видно: кабинет пуст.

- Так, - сказал Бахметьев и оперся о стену, потому что у него подгибались колени.

15

Первый приступ слабости быстро прошел. Еще далеко не все было потеряно, только нужно было сохранять спокойствие.

Никто из товарищей его тетради не брал. Это удалось выяснить осторожными расспросами в роте. Значит, она осталась там, Где была.

Конечно, ее найдут при первой же приборке и, конечно, представят по начальству. Скорее всего, это случится на следующее утро, но, возможно, случилось уже. Инструктор Плетнев был человеком исполнительным.

Можно бы его разыскать и посмотреть, что он думает. Или даже прямо попросить его открыть кабинет. Нет, все это было слишком рискованно. Особенно в том случае, если тетрадь уже дошла до начальства.

Еще можно было попытаться ночью проникнуть в кабинет без всякого Плетнева. Просто подобрать ключ. Но и это было не без риска. Иван, если только ему доложили, был способен устроить засаду.

Бахметьев ходил взад и вперед по столовому залу и сам не заметил, как оказался в лазаретном коридоре, его притягивала закрытая дверь кабинета, и, чтобы мимо нее пройти, ему пришлось сделать над собой усилие.

Дальше был лазарет, и в лазарете отдыхал Лобачевский. Верный друг и умный союзник. Но было трудно признаться ему в том, что сделал такую глупость.

И в дверях лазарета торчал ключ. Что, если подойдет? Что, если попытаться сейчас?.

Искушение было слишком сильным. Бахметьев вынул ключ, быстрыми шагами возвратился к минному кабинету и, остановившись, прислушался. Была полная тишина, только на лестнице в третью роту тоскливо шипел радиатор парового отопления.

Ключ подошел в точности, и дверь раскрылась без скрипа. До первой парты было всего три прыжка, но в ней ничего не оказалось. Ни учебников, ни тетради с конвертом. На ощупь

пустой ящик. Заглянул - тоже пустота.

Снова захотелось сесть, но нужно было выскочить отсюда возможно скорее, и сердце колотилось так, что даже мешало думать.

И еле успел Бахметьев закрыть за собой дверь, как со стороны столового зала послышались шаги. Он бросился им навстречу - так было легче - и на углу коридора прямо лицом к лицу встретился с Иваном Посоховым.

- Здравия желаю, господин старший лейтенант! - Странно, он был совершенно спокоен и вдруг вспомнил: наступление есть наилучший вид обороны. - Разрешите спросить, который час?

В темноте лицо Посохова осталось непонятным.

- Да, - глухо сказал он, - здравствуйте, Бахметьев,- и, подумав: Примерно без четверти девять.

Теперь - отчаянный шаг:

- Я на репетиции забыл свои учебники, а кабинет заперли. Как бы мне их достать?

Посохов молчал. Сейчас он выглядел совсем как тот буйвол, и молчание его было невыносимым. Хотелось броситься и сбить его с ног. Знал он, наконец, или не знал?

- Ерунда! Пошлете дневального. Ступайте в роту.

Значит, не знал. Красота! И был не расположен к разговорам. Совсем хорошо!

- Есть! - весело ответил Бахметьев, по уставу повернул налево и пошел в столовый зал, но сразу замедлил шаги. Тетради у него все-таки не было. Куда же она девалась и что будет дальше?

Огромный зал был пуст. Тусклый блеск мрамора, маленькая лампочка над бригом и длинные черные тени на паркете - сколько раз он все это видел, но еще никогда так остро не ощущал, как сейчас.

Говорят, всегда любуешься тем, что скоро должен потерять. Городом, перед тем как из него уехать. Дорогими чертами лица, которое больше не увидишь. Кто это ему сказал? Чуть ли не поэт Степа Овцын, но когда и по какому случаю? И неужели это было так?

Он шел с тяжелым сердцем, и над ним в гулкой высоте шел звук его шагов. Больше ни о чем не хотелось думать. Хотелось, чтобы всему пришел конец. И чем скорее, тем лучше.

- Господин Бахметьев!

Это был Плетнев. Он стоял в тени под хорами, и Бахметьев его сперва не заметил. В протянутой руке он держал небольшой пакет.

- Вот, вы забыли. Возьмите. - Но Бахметьев не пошевельнулся.

- Возьмите, - повторил Плетнев.- И не беспокойтесь. Никто не

узнает,

Тогда Бахметьев шагнул вперед, вырвал у Плетнева пакет и со всей силой пожал его руку,

- Легче, господин гардемарин, - усмехнулся Плетнев. - Еще кто увидит.

В самом деле, пожимать руку нижнего чина отнюдь не годилось, но сейчас было не до устава.

- Почему... - назвать Плетнева на ты, как того требовал тот же устав, Бахметьев не смог - Почему вы это сделали?

- Спокойной ночи, - ответил Плетнев и сразу ушел.

Пакет был аккуратно завернут в газету и перевязан смоленой ворсой. Не терпелось его развернуть, и, кстати, поблизости никого не было.

Учебник минного дела, часть вторая. Описание самодвижущейся мины в 45 сантиметров, образца 1912 года, И, наконец, тетрадь, и в, тетради тот самый конверт со штрафными записками, который он взял из кабинета Кригера,

Теперь нужно было бежать к Лобачевскому и на радостях придумать с ним что-нибудь посмешнее.

16

Утром горнист неожиданно сыграл большой сбор. Неожиданно, потому что по расписанию в этот день полагалась прогулка.

- Большой сбор! - кричали дежурные. - Большой сбор!

К рундукам бежали бегом со всех концов роты. Фуражки, подсумки и портупеи, а потом толкотня у пирамид с винтовками и лязг насаживаемых штыков.

- Становись! - уже командовал фельдфебель. - Направо равняйсь! - И подбегали последние опоздавшие. - Смирно, равнение направо!

Второй неожиданностью было появление в старшей роте лейтенанта Стожевского. Одетый в строевую форму и при сабле с шарфом, он прошел вдоль фронта, по-лошадиному вскинул голову и крикнул:

- Здравствуйте, господа!

Рота ответила по положению, но удивилась: ее настоящий командир Иван Посохов еще вчера вечером был в дежурстве, а теперь куда-то исчез.

И сразу же по второй шеренге прошел неизвестно кем пущенный слух: Иван не то свернул себе шею, не то окончательно спятил с ума и ночью расстреливал из револьвера портреты в картинной галерее.

- Фельдфебель, - распорядился Стожевский, - ведите!

- Рота, направо! - скомандовал фельдфебель Метлин. - Шагом

марш!

В картинной галерее, приставив ногу, уже ждала пятая рота. Третья и шестая входили в столовый зал с противоположной стороны, а посредине, у памятника Петру, окруженный офицерством, маленький и, видимо, смертельно злой, стоял генерал-майор Федотов.

Как всегда, построились во взводные колонны и выровнялись по линейным. Как всегда, офицеры заняли места в строю. Потом, по обыкновению, была тишина и в тишине звонкая команда:

- К встрече слева... слушай, на кра-ул!

Встречный марш - и, точно заводная, фигурка Федотова перед строем всего батальона. Резко оборванные звуки оркестра, и снова тишина.

- Здравствуйте, гардемарины и кадеты!

Гулкий и раскатистый ответ. Все как всегда, ничего необычного. Очередное обучение осточертевшим строевым красотам.

- К ноге! - И короткий стук прикладов о пол.

Так было сотни и тысячи раз, и так, по-видимому, будет до скончания века. Сухие команды и скука четких движений. Бесконечные репетиции бесконечных парадов.

Федотов поднимает руку с белым платком.

- К церемониальному маршу, на двух линейных дистанцию. Первая рота, правое плечо вперед! Резкий выкрик Стожевского:

- Первая рота, первый взвод!

И молодой голос мичмана Шевелева:

- Первый взвод, равнение направо, шагом... марш!

Громкий и победный марш Морского корпуса, тяжелый шаг проходящих взводов, блеск сабель, вскинутых на караул. Новые команды и новые перестроения. Все в точности; как в прошлый раз, и совсем так же, как будет на следующем учении.

И тот же конец: батальон снова стоит на месте, и опять перед фронтом прохаживается Федотов. И вдруг - полное нарушение установленного порядка:

- Кадетские роты... по ротам!

Почему одни кадетские? Что будут делать с гардемаринами?

А сделали с ними вот что: первую повернули правым плечом вперед, а третью - левым, и на середину образовавшейся буквы П вышел генерал-майор Федотов.

- Стоять вольно! Мне нужно с вами поговорить. - И высморкался в тот самый платок, которым подавал сигнал к церемониальному маршу.

- Гардемарины! - Он явно нервничал и, чтобы успокоиться, сделал несколько шагов. - Гардемарины, на нас обрушился

небывалый позор! Неслыханный позор, понимаете?

Но гардемарины ничего не понимали.

- Кто-то из вас... Да, я знаю наверное, что это кто-то из вас скрывается под личиной преступника и творит гнусные мерзости.

Он остановился и снова высморкался. У него, несомненно, был насморк.

- Мерзкие гнусности, которые несмываемым пятном ложатся на нашу честь, на честь нашего корпуса!

Постепенно его речь становилась понятнее, а главное - интереснее.

- Вчера в кабинете инспектора классов была совершена дерзкая кража. Кража в наших славных стенах!

Передние шеренги сохранили подобающее спокойствие, но задние позволили себе улыбнуться.

- Этот негодяй избрал мишенью для своих дерзостей всеми нами любимого и уважаемого генерал-лейтенанта Александра Христиановича Кригера. Разве это не позор?

Пока что это была всего лишь явная передержка и на слушателей особого впечатления не произвела.

- А знаете ли, что он сделал с нашим честным и самоотверженным командиром старшей роты Посоховым? Знаете ли вы, где сейчас находится наш дорогой Иван Акимович Посохов?

Этого гардемарины не знали. И очень хотели бы узнать.

- Сегодня ночью преступник украл... Да, именно украл у Ивана Акимовича записную книжку... - Нужно было сделать обвинение еще сильнее: - И бумажник с деньгами.

По строю прошел короткий вздох. Лгать было опасно, и Федотов это почувствовал:

- Во всяком случае, бумажника на Посохове не нашли.

На Посохове! Это звучало по меньшей мере интригующе, и, чтобы лучше слушать, весь строй наклонился вперед.

О ночной истории он, пожалуй, зря заговорил, но теперь приходилось продолжать. А чтобы собраться с мыслями, можно было снова воспользоваться носовым платком.

- Старший лейтенант Посохов был надежной опорой порядка и, естественно, возбуждал в злодее особую ненависть. - Нет, все-таки лучше было на эту тему не распространяться. - Сегодня ночью, в результате новых оскорблений и душевного потрясения, он сломал себе ногу и сейчас находится на излечении в Морском госпитале.

Это было совсем здорово и совсем непонятно, но Федотов сразу же свернул в другую сторону.

Снова заговорил о чести и о долге. Заверил слушателей в

том, что их священная обязанность - самим найти поганую овцу, которая портит все стадо, и исторгнуть ее из своих рядов. Или же, если они не захотят дать делу законный ход, принять соответственные меры в целях прекращения этого кошмара.

Говорил долго и убежденно, все время сморкался и к концу даже охрип. Но речью своей остался доволен и позже, прогуливаясь по классному коридору, сказал шедшему рядом с ним Стожевскому:

- Теперь, я думаю, они поняли. Теперь все это безобразие должно закончиться. - Потянул из кармана носовой платок и вдруг остановился. А потом, точно ужаленный, отскочил в сторону.

Из его кармана на пол выпала визитная карточка Арсена Люпена.

17

Это был странный разговор. Вероятно, самый странный во всей жизни Бахметьева.

Плетнев через дежурного вызвал его из курилки, и они разговаривали в темноте на холоду, между двойными дверями выхода на Сахарный двор.

В корпус были приглашены сыщики из охранного отделения. Завтра же под видом вновь нанятых дневальных они должны были приступить к делу.

Откуда Плетнев это знал? Все равно откуда, но знал наверное и предупреждал господина Арсена Люпена, чтобы тот поостерегся.

Почему предупреждал? С какой стати взял на себя миссию защитника? Все это было дико и непонятно, но еще более непонятными оказались следующие новости,

В команде корпуса прекратили увольнения и отпуска. Возможно, что в субботу и воспитанников не выпустят. Нет, совсем не из-за арсен-люпеновской истории, и Плетнев даже улыбнулся. Были другие, более веские основания, и, между прочим, соответственный приказ командующего Петроградским военным округом.

Завтра утром Плетнев уезжал в Гельсингфорс. Как так? Просто по собственному желанию переводился на действующий флот. В этом ему помог генерал-майор Грессер, а теперь он пришел просить помощи Бахметьева в другом деле.

Конечно, Бахметьев был рад помочь, но чем именно?

Вот чем: Плетнев уезжал утром и не имел возможности зайти к жене. Ну, прямо сказать, он с ней не был обвенчан, и его бы к ней не отпустили. А нужно было переслать ей кое-какие документы и деньги, чтобы впоследствии она могла поехать за

ним. Может, господин Арсен Люпен согласился бы занести? Это близко, на Шестнадцатой линии.

На действующий флот Плетнев переводился неспроста - это было совершенно ясно. Не менее ясно было и то, что жена, которая не жена, была введена в разговор для отвода глаз. И, кроме того, пакет выглядел слишком объемистым для денег и документов.

Но он был так же аккуратно завернут и перевязан такой же смоленой ворсой, как тот, который Бахметьев накануне получил от Плетнева в столовом зале.

Услуга за услугу, и, принимая пакет, Бахметьев тоже сказал:

- Не беспокойтесь, об этом никто не узнает,

Понимал ли он, за какое дело взялся? Разумеется, да, однако довольно смутно. Что он мог знать о революции и революционерах?

С детства все представлялось сплошным злодейством, а вот двоюродный брат Миша был на редкость хорошим и веселым парнем, и вдруг оказался красным. Но его сослали на Сахалин, и о нем в семье не принято было говорить.

И в церкви корпуса, кроме черных с золотом досок "Смертью храбрых павшим в бою", были доски серого мрамора, посвященные "в мирное время погибшим при исполнении своего долга", И на одной из этих досок был список офицеров эскадренного броненосца "Князь Потемкин-Таврический".

Традиционная верность монарху. Отечественная война с немцами. Чепуха! Везде была сплошная глупость, и все на свете шло прямо к чертям собачьим. И брат Александр, честный офицер русской армии, задыхаясь, кричал: "Выродки и предатели! Все: царь, министры, командование! Они дождутся! Всем свернут шею!"

Может быть, они уже дождались. Слишком странен был разговор Плетнева, слишком много спокойной уверенности звучало в его голосе.

Как бы то ни было, он дал слово и теперь собирался его сдержать: на следующий же день пойти в отпуск и отнести пакет по назначению. Впрочем, больше делать было нечего. По каким-то соображениям сам Плетнев идти на квартиру к своей жене не хотел и подстроил так, что за него пришлось идти господину Арсену Люпену.

Ловко подстроил, ничего не скажешь, и Бахметьев покачал головой. Чтобы уволиться, существовал только один способ: утром пойти на амбулаторный прием, показать какой-нибудь зуб с дуплом и заявить о своем желании лечить его у частного врача.

По таким делам в город увольняли только два раза в неделю,

по вторникам и четвергам, но следующий день был как раз четвергом, и подходящее дупло в зубе имелось.

Однако, несмотря на записку Оскара Кнапперсбаха, дежурный офицер лейтенант Птицын сомневался.

Чего ради он, сопля такая, дежурил через день и почему не хотел отпускать? Ссылался на то, что ему казалось, будто отпуска к зубным врачам временно были прекращены, и вообще крутил и путал. Неужели уже действовал тот приказ, о котором говорил Плетнев?

Пришлось разыскивать Ветчину и изображать перед ним смертельную зубную боль. Однако и это не помогло. Ветчина мямлил, смотрел не в глаза - в левый угол потолка, просил подождать, а пока что советовал пойти в лазарет к фельдшеру. Положить в дупло карболки - это отлично помогает.

- Есть, - ответил Бахметьев и, так как уже был в шинели, пошел прямо на парадную лестницу и в город.

В случае чего решил сказать, что, одурев от боли, все перепутал, а взять билет просто забыл. Конечно, это звучало не слишком убедительно, но не идти было невозможно.

На улице стояла оттепель. С моря порывами дул сырой ветер, и снег падал мокрыми, тяжелыми хлопьями. Было тревожно и нехорошо.

18

Дом был кирпичный, с огромной слепой стеной, возвышавшейся над соседними крышами. Двор - колодцем, с тяжелым запахом сырости. В полутьме черной лестницы, надрываясь, кричали коты.

Бахметьев дернул звонок, у квартиры номер сорок семь. Дернул, а потом спешно стал снимать белые перчатки. Нужно было выглядеть попроще.

- Кого? - спросил из-за двери высокий голосок.

- Лазаря Циммермана, - ответил Бахметьев, - часовщика.- Так его научил Плетнев и, если что случится посоветовал сделать вид, будто он принес часы в починку.

Если что случится, - и Бахметьев вдруг почувствовал, как у него забилось сердце.

- Кого? - повторил голосок на еще более высокой ноте.

- Часовщика Циммермана.

Дверь не отворилась. В припадке исступления наверху снова закричало кошачье трио, и нельзя было расслышать, что делалось в квартире. Наконец Бахметьеву надоело ждать, и он рванул звонок изо всей силы. Дверь раскрылась почти сразу, и на пороге оказался рослый, широкоплечий человек с темным лицом. Не отпуская ручки двери, он спросил:

- Кто вы такой?

- Мне нужно видеть часовщика Циммермана.- Внешне Бахметьев был совершенно спокоен, но в действительности сдерживался с трудом. Человек, открывший дверь, ему определенно не понравился. Он мог быть кем угодно.

Вероятно, и Бахметьев, в свою очередь, показался незнакомцу подозрительным. Он долго и недоброжелательно его разглядывал, но наконец сказал:

- Пойдем.

В закопченной кухне, прижавшись к стене, стояла маленькая девочка. На руках она, точно ребенка, держала полено, и по глазам ее было видно, что она тоже не верит Бахметьеву.

В коридоре стояла совершенная темнота. Идти пришлось ощупью. Скрипел пол, и за одной из дверей слышался какой-то шорох. Было смутно и даже чуть страшно, и в комнате, куда Бахметьев наконец попал, легче не стало.

Она была похожа на тюремную камеру: узкое окно, отсыревшие штукатурные стены, кухонный стол, табурет, железная кровать - и больше ничего. И рослый незнакомец вел себя, как тюремщик. Закрыл дверь, прислонился спиной и спросил:

- Что вам нужно от часовщика Циммермана?

Бахметьев, смерив его взглядом, улыбнулся. Наступление опять было лучшим видом обороны, и для начала этого дяденьку следовало срезать:

- А кто вы, собственно говоря, такой, чтобы задавать мне вопросы?

Теперь улыбнулся незнакомец. От улыбки лицо его стало совсем молодым и добродушным, но доверять выражению лица никак не годилось.

- Кто я такой?

- Вот именно. - И Бахметьев слегка кивнул головой.

- Я Лазарь Циммерман.

Чепуха. Часовщик Циммерман, судя по фамилии и профессии, должен был быть маленьким, сгорбленным евреем в очках. Дядя явно врал.

- Вы уверены в том, что вы Лазарь Циммерман?

Голос Бахметьева звучал совершенно ровно, но вид у него, вероятно, был в достаточной степени растерянный. Циммерман рассмеялся:

- Ладно. Вам что? Часы починить? Может, вас Семен Плетнев прислал?

Все это вовсе не было убедительным. Скорее даже тревожным. На всякий случай Бахметьев снял с руки часы-

браслет.

- Пожалуйста. Иногда ни с того ни с сего останавливаются. Посмотрите, в чем дело.

- Слушайте, - ответил Циммерман. - Я в самом деле часовщик, и совсем не плохой. Я уже отсюда вижу, что часы ваши в полном порядке. - Покачал головой и снова тихонько рассмеялся. - я же грамотный, а у вас на фуражке написано; "Морской корпус". И неужели вы думаете, что я вас насквозь не вижу? - Открыл дверь и в коридор крикнул - Катерина! Катенька! К вам пришли.

Бахметьев чувствовал себя глупо. Глупее всего оттого, что краснел как мальчишка. Кем же, в конце концов, был этот человек и как с ним разговаривать?

В комнату вошла молодая женщина в темном платье и с ней рябой широкоскулый солдат.

- Он от Семена, - сказал Циммерман и повернулся К Бахметьеву! - Это Катя Колобова, а это брат Семена Плетнева, Андрей. Знакомьтесь.

Пакет был адресован Екатерине Колобовой, и солдат в самом деле мог быть братом Плетнева. У него были такие же угловатые черты лица и такие же медлительные повадки.

Бахметьев молча расстегнул шинель, из внутреннего кармана вынул пакет и протянул его Катерине.

- Он уехал в Гельсингфорс, а это просил отдать вам.

Положение получилось самое дурацкое. Катерина пакет взяла, но держала его в руках и не знала, что с ним делать, солдат глядел волком, а Циммерман продолжал улыбаться. Нужно было возможно скорее уходить.

- Когда уехал? - спросила наконец Катерина.

- Сегодня утром.

Бахметьев застегнулся. Теперь осталось только приложить руку к фуражке, коротко распрощаться и уйти, Но солдат его остановил:

- Вы что, из этих самых морских юнкеров?

- Гардемарин. - Разговаривать с рябым солдатом, хоть он и был братом Плетнева, Бахметьеву вовсе не хотелось.

- А почему вы сюда пришли? Бахметьев пожал плечами:

- По просьбе вашего брата. - Вынул белые перчатки и демонстративно стал их натягивать. Он чувствовал себя ущемленным и во что бы то ни стало должен был восстановить свое превосходство. - Скажите, а вы почему сюда пришли? Если не ошибаюсь, увольнения запрещены приказом командующего округом. Не так ли?

- Прика-азом? .. - насмешливо протянул солдат,- Нашему полку теперь много не прикажешь. Мы еще вчера отказались идти

на фронт и повешали всех наших господ офицеров.

Бахметьев пошатнулся, как от удара. Это было просто невероятно. Конечно, что-то надвигалось, но неужели зашло так далеко? Это же был бунт! И, несмотря на все, что раньше было передумано, вдруг всплыла мысль: отказ идти на фронт измена.

- Счастливо оставаться! - махнул перчаткой и вышел в коридор. Выходя, услышал, как сзади в комнате кто-то засмеялся. Наверное, опять Циммерман.

По лестнице, гремя палашом, бежал через ступеньки, а сверху вдогонку с явной издевкой в голосе кричали все те же коты.

Выскочил на улицу и еле отдышался. Пошел к Неве как мог быстрее, но у Большого проспекта вынужден был остановиться. Весь проспект был запружен толпой с красными флагами.

- Что это такое? - и сам не заметил, что подумал вслух.

- Это наши, - объяснила баба в черном платке, - Балтийский завод. И казаки их не трогают.

[стр. 72-73 пропущены при сканировании]

его брата Александра. И, наконец, Большой проспект, где он был всего полчаса тому назад. Красные знамена, песни, выкрики и ухмыляющиеся лица казаков. Конец, и что дальше - неизвестно.

Лобачевский слушал не отрываясь. Даже не заметил, как у него во рту потухла папироса. Только когда Бахметьев кончил, вздрогнул, выплюнул окурок и сказал: - Ты с ума сошел. Ты... - но остановился, из портсигара достал новую папиросу и снова закурил. - Нет, кое-что и я слышал, только не обратил внимания. Говорили, будто бастуют заводы, но ведь они почему-то всегда бастуют. Все равно ты врешь. Этого всего не может быть.

Но тем не менее все это было. В ротах уже знали и - про забастовки, и про разгром булочных, и про то, что войска были ненадежны.

Новости приходили неизвестно откуда. Одно и то же известие слышали будто от кого-то из офицеров, по телефону из города и от матросов, строевых инструкторов.

Но офицеры, когда их прямо спрашивали, молчали, по телефону говорить было запрещено, а матросов-инструкторов нигде было не найти.

Сперва не верили, не могли поверить. Отшучивались и смеялись. Потом начали прислушиваться. Все те же вести шли со всех сторон, и становилось страшно.

Из угловых окон пятой роты видели толпу на Николаевском мосту. За наступившей темнотой никаких флагов разобрать не могли, но черная человеческая масса шла безостановочно, и конца ей не было.

Поползли новые, еще более тревожные слухи. Где-то шла

перестрелка с городовыми. В каких-то казармах убили дежурного офицера.

Говорили вполголоса и ходили, стараясь не шуметь, как в доме, где лежит мертвец,

Потом был мучительно резкий сигнал к вечернему чаю. Он эхом прокатился точно по пустому помещению, но никто его не подхватил. Даже дежурные молчали.

Строились и шли все с теми же трудными мыслями. Что же случилось и что будет дальше? Расселись по столам и пили чай в такой тишине, какой столовый зал еще не знал с самой своей постройки.

Он был необъятным, этот зал, и в нем была вся история двухсот с лишним лет. Бронзовый Петр, основатель Навигацкой школы, имена героев на георгиевских досках и связки плененных знамен. Но в его окнах стояла темнота, и в этой темноте вся история кончилась.

И в зале было холодно.

По внезапному сигналу горниста вскочили с мест и, вскочив, по положению повернулись к проходу. Ветчина, дежурный по корпусу, мелкой рысью бежал от своего столика к хорам, а навстречу ему медленно шел его превосходительство директор.

Так же медленно он вышел на середину зала, кашлянул в бороду, но ничего не сказал. Долго осматривался, еще раз кашлянул и только тогда поздоровался. Корпус ответил неуверенно и негромко.

Снова наступила тишина, и в этой тишине трудно было дышать и страшно было думать.

- Гардемарины и кадеты! - Голос директора звучал тускло и так тихо, что приходилось напрягать слух. - Нашему врагу, Германии, сегодня удалось одержать самую крупную победу за все время этой беспримерной, охватившей весь мир войны.

- Опять остановился и заговорил еще тише. Доходили только отдельные слова о германских агентах. Их золото руками врагов общества и предателей своей родины, революционеров, вызвало беспорядки на столичных заводах.

Темный народ, который не ведает, что творит. Приостановка производства снаряжения и возможные гибельные последствия для фронта. Опасность! Большая опасность!

Дальше что-то совсем неслышное насчет запасных полков и присяги государю императору. Изменили они или, наоборот, верны этой присяге?

- По воле божией... - снова пропуск. Бормотание, от которого охватывает дрожь, трясение мелькающей в глазах белой бороды. - Но, конечно, - здесь голос как будто снова окреп, - конечно, не

позже чем через два-три дня порядок снова будет восстановлен, и великая Россия победит! - Взмах рукой и неожиданный конец: - По ротам!

Почему-то не попрощался и даже не дал допить чай. Почему-то остался на середине, пока все не ушли из зала.

И в ротах не знали, что думать.

Степа Овцын чуть не кричал о славе жертвы и о жертве славы, а только что выпущенный из карцера Котельников торжественно клялся умереть. Барон Штейнгель их успокаивал. Умирать им не придется. Народ образумится, а если нет, его поучат пулеметами. Все будет в порядке, так говорил сам директор, и ему нужно верить.

- Верь, - с горечью сказал Бахметьев. - Дурак! Всему на свете верь: и немецкому золоту, и тому, что сейчас солдаты будут стрелять в народ.

- Как ты смеешь! - Штейнгель вскочил на ноги и горячо заговорил о верности и победе, но под градом насмешек Лобачевского сел. А сам Лобачевский налил себе воды и пил ее, стуча зубами по краю фарфоровой кружки.

- Плохо, - резюмировал Домашенко, - идем спать. - И снова, так же как и в прошлый раз, был прав.

В эту ночь у ворот, на парадной лестнице и по всем угловым помещениям, выходившим на улицу, были выставлены караулы, снабженные полным боевым запасом.

И в ту же ночь в картинной галерее, против ниши дежурного по батальону, появился плакат:

Я УМЕР.

А под плакатом, разорванные в клочки, были рассыпаны последние визитные карточки Арсена Люпена.

20

Утром на прогулку не пошли и не знали, что с собой делать. С опаской посматривали в окна, но улицы были пусты.

В положенный час собрались по классам, но там преподавателей не дождались. Сидели одни от звонка до звонка, - странно было, что звонки продолжали действовать с прежней точностью, - и в перерывах ходили курить. На третьем уроке распространился слух об измене,-адъютант, якобы по приказанию директора, снимал караулы. Это было невозможно: не мог же директор сдать свой корпус предателям, купленным на немецкие деньги, мятежникам, которые через два-три дня все равно будут усмирены.

Охваченные паникой, разбежались по ротам, - там всем вместе было не так жутко. И как раз в это время со стороны Одиннадцатой линии и с набережной подошла толпа. Из окна она

казалась враждебной и зловещей, хотя на самом деле имела дружеские намерения. Она просто пришла звать за собой Морской корпус и была уверена в том, что он пойдет, как пошли почти все воинские части и военные училища столицы.

Отшатнувшись от окон, бросились к винтовкам. Это было неизбежным следствием всей знаменитой двухсотлетней истории, всяческих старых традиций, а главное - произнесенной накануне вдохновенной речи директора.

Кричали, толпясь у пирамид. Гнали прочь и сбивали с ног изменников-офицеров, пытавшихся стать на дороге.

А сам его превосходительство директор вышел на верхнюю площадку парадной лестницы и там в одиночестве ждал конца. Еще с утра из телефонных разговоров с Морским министерством он знал о действительном положении вещей, но созвать гардемаринов и кадет и перед ними отказаться от своих слов он не мог. У него не хватало сил.

И конец пришел. Дверь широко распахнулась, и через порог хлынула сплошная веселая толпа. Его превосходительство двинулся ей навстречу, и в недоумении она остановилась. Тогда, высоко подняв свою белую бороду, он спросил:

- Что вам здесь нужно?

И толпа, не расслышав, ответила:

- Ура!

Ей было занятно вплотную рассматривать настоящего адмирала, и вообще она была в отличном настроении духа.

Но адмирал, внезапно побагровев, взмахнул рукой и гневным голосом закричал:

- Вон! Вон отсюда!

Сперва отпрянули назад. Еще действовал старый страх перед черными орлами на золоте погон. Но потом, почти сразу же опомнившись, закричали в ответ. Набросились со всех сторон, схватили за руки и всей тяжестью притиснули к стене.

Задыхаясь, он выкрикивал угрозы и проклятия, своим большим телом бился, как пойманная рыба, но на него не обращали внимания. Громко пели и шли вверх по широкой лестнице.

21

Смятение, стрельба и крики. Штыковая атака кучки гардемаринов третьей роты на кухонном дворе.

Старшую роту вовремя успел остановить генерал-лейтенант Кригер - к счастью, ему поверили, - а четвертую просто запер на ключ унтер-офицер Бахметьев.

Старик Леня Грессер, упавший на лестнице и разбивший в кровь лицо. Он оказался героем - сумел вернуть на место всех,

кто выбежал во двор.

Одиночные выстрелы с чердака, ответные залпы улицы, солдаты, ворвавшиеся в картинную галерею, и новая дикая сумятица.

Потом крики:

- Во фронт! Во фронт! Винтовки в козлы! Во фронт!

Все равно защищаться было невозможно. Все равно пришел конец. Ставили винтовки в козлы и строились безоружные.

Тогда началось самое трудное. Стояли и смотрели, как победители охапками выносили оружие, винтовки и палаши - то, что двести лет учили считать самым священным.

Стояли опустив головы и руки, стояли смертельно долго - больше часа, и были распущены только когда последние из победителей покинули корпус.

Разошлись, но ни разговаривать, ни смотреть друг на друга не могли. С опозданием на три часа получили обед, но есть тоже не смогли.

Потом, вернувшись в роты, выслушали новый приказ исполнявшего обязанности директора корпуса генерал-лейтенанта Кригера: увольнение по домам впредь до особого распоряжения, которое будет дано циркулярным письмом.

22

Бахметьев и Лобачевский из корпуса вышли вместе. На набережной стояла темень и пустота. И такая тишина, что просто не верилось.

- Холодно, - сказал Бахметьев, и Лобачевский кивнул головой. Потом вдруг остановился!

- Знаешь, у меня без палаша такое чувство, как без штанов, - но махнул рукой и пошел вперед.

- Глупости... Пройдет.

Долго шли молча. Наконец Бахметьев взял Лобачевского под руку.

- Ты прав, Борис. Все пройдет. И знаешь, может, оно к лучшему.

С самой шестой роты они всегда были вместе. Учились в одном классе и рядом стояли в строю, вместе плавали и гребли на одном катере, вместе ловчились в лазарет и делали "Арсена Люпена".

Но тут на углу Седьмой линии и набережной они разошлись. Резким рывком Лобачевский высвободил свою руку и коротко сказал:

- Прощай!

- Прощай!

Что теперь оставалось делать? Сворачивать налево и идти

домой? К отчиму и матери в невыносимую истерическую духоту квартиры на пятом этаже?

И внезапно Бахметьев свернул направо. Через Николаевский мост на Конногвардейский бульвар - к Наде. Может быть, она сумеет помочь.